



ГИ ДЕ МОПАССАН

ЛУЧШИЕ НОВЕЛЛЫ

Зарубежная классика (Эксмо)

Ги де Мопассан

Лучшие новеллы (сборник)

«Public Domain»

УДК 821.133.1-3
ББК 84(4Фра)-44

де Мопассан Г.

Лучшие новеллы (сборник) / Г. де Мопассан — «Public Domain»,
— (Зарубежная классика (Эксмо))

ISBN 978-5-699-94301-2

Выморочность парижской жизни задана с первого рассказа, с выезда лавочников за город раз в год – поехать на травке, услышать соловья, совокупиться по зову плоти. И это – все. Если и мелькнет в этих рассказах естественное чувство, то как зеленая дачная травка для горожан – полдня, и довольно. Но и эти полдня могут стать откровением – пусть страшным, – ради которого жив человек. Ибо страшнее всего не смертоносная ревность и даже не сотрясающее открытие, что очередная содержанка оказалась твоей же дочерью от давней связи. Всего ужасней слова любопытствующей провинциалки: «Я хотела узнать порок... ничего интересного». К этой бездне – «ничего интересного» – подводит Мопассан читателя. Достанет ли мужества заглянуть?

УДК 821.133.1-3

ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-699-94301-2

© де Мопассан Г.

© Public Domain

Содержание

Поездка за город	5
Подруга Поля	12
Маррока	23
Полено	29
Сумасшедший?	32
Хитрость	35
Парижское приключение	39
Прощение	44
Вдова	48
Дверь	51
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Ги де Мопассан

Лучшие новеллы (сборник)

Поездка за город

Позавтракать в окрестностях Парижа в день именин г-жи Дюфур, которую звали Петронилла, было решено уже за пять месяцев вперед. А так как этой увеселительной поездки ожидали с нетерпением, то в это утро все поднялись спозаранку.

Г-н Дюфур, заняв у молочника его повозку, правил лошадьё собственноручно. Двухколёсная тележка была очень чистенькая; у нее имелся верх, поддерживаемый четырьмя железными прутьями, и к нему прикреплялись занавески, но их приподняли, чтобы любоваться пейзажем. Только одна задняя занавеска развевалась по ветру, как знамя. Жена, сидя рядом с мужем, так и сияла в шелковом платье невиданного вишневого цвета. За нею на двух стульях поместились старая бабушка и молоденькая девушка. Виднелась, кроме того, желтая шевелюра какого-то малого: сидеть ему было не на чем, и он растянулся на дне тележки, так что высывалась одна его голова.

Проехав по проспекту Елисейских Полей и миновав линию укреплений у ворот Майо, принялись разглядывать окружающую местность.

Когда доехали до моста в Нейи, г-н Дюфур сказал:

– Вот наконец и деревня!

И по этому сигналу жена его стала восхищаться природой.

На круглой площадке Курбеуа они пришли в восторг от широты горизонта. Направо был Аржантей с подымавшейся ввысь колокольней; над ним виднелись холмы Саннуа и Оржемонская мельница. Налево в ясном утреннем небе вырисовывался акведук Марли, еще дальше можно было разглядеть Сен-Жерменскую террасу; прямо против них, за цепью холмов, взрытая земля указывала на местоположение нового Кормельского форта. А совсем уж вдали, очень далеко, за равнинами и деревнями, виднелась темная зелень лесов.

Солнце начинало припекать; пыль то и дело попадала в глаза. По сторонам дороги развertyвалась голая, грязная, зловонная равнина. Здесь словно побывала проказа, опустошив ее, обглодав и самые дома – скелетообразные остовы полуразрушенных и покинутых зданий или недостроенные из-за невыплаты денег подрядчикам лачуги, простиравшие к небу четыре стены без крыши.

Там и сям из бесплодной земли вырастали длинные фабричные трубы; то была единственная растительность этих гнилых полей, по которым весенний ветерок разносил аромат керосина и угля с примесью некоего другого, еще менее приятного запаха.

Наконец вторично переехали через Сену, и на мосту все пришли в восторг. Река искрилась и сверкала; над нею подымалась легкая дымка испарений, поглощаемых солнцем; ощущался сладостный покой, благотворная свежесть; можно было наконец подышать более чистым воздухом, не впитавшим в себя черного дыма фабрик и миазмов свалок.

Прохожий сообщил, что эта местность называется Безонс.

Экипаж остановился, и г-н Дюфур принялся читать заманчивую вывеску харчевни: «Ресторан Пулена, вареная и жареная рыба, отдельные кабинеты для компаний, беседки и качели».

– Ну, как, госпожа Дюфур, устраивает это тебя? Решай!

Жена, в свою очередь, прочитала: «Ресторан Пулена, вареная и жареная рыба, отдельные кабинеты для компаний, беседки и качели». Затем она внимательно оглядела дом.

То был деревенский трактир, весь белый, построенный у самой дороги. Сквозь растворенные двери виднелся блестящий цинковый прилавок, перед которым стояли двое одетых по праздничному рабочих.

Наконец г-жа Дюфур решилась.

– Здесь хорошо, – сказала она, – и к тому же отсюда красивый вид.

Экипаж въехал на широкую, обсаженную высокими деревьями лужайку позади трактира, отделенную от Сены лишь береговой полосой.

Все слезли с тележки. Муж соскочил первым и раскрыл объятия, чтобы принять жену. Подножка, прикрепленная на двух железных прутьях, была помещена очень низко; чтобы до нее дотянуться, г-же Дюфур пришлось показать нижнюю часть ноги, первоначальная стройность которой теперь исчезла под наплывом жира, наплавившего с ляжек.

Деревня уже начала приводить г-на Дюфура в игривое настроение: он проворно ущипнул супругу за икры и, взяв ее под мышки, грузно опустил на землю, точно огромный тюк.

Она похлопала руками по шелковому платью, чтобы стряхнуть пыль, и огляделась вокруг.

Это была женщина лет тридцати шести, дородная, цветущая, приятная на вид. Ей было трудно дышать от слишком туго затянутого корсета; колышущаяся масса ее необъятной груди, стиснутая шнуровкой, подымалась до самого двойного подбородка.

За нею, опершись рукою о плечо отца, легко спрыгнула девушка. Желтоволосый малый стал одною ногой на колесо, вылез сам и помог г-ну Дюфуру выгрузить бабушку.

После этого распрягли лошадь и привязали ее к дереву, а тележка упала на передок, уткнувшись оглоблями в землю. Мужчины, сняв сюртуки и вымыв руки в ведре с водою, присоединились к дамам, уже разместившимся на качелях.

М-ль Дюфур пробовала качаться стоя, одна, но ей не удавалось придать качелям достаточный размах. Это была красивая девушка лет восемнадцати-двадцати, одна из тех женщин, при встрече с которыми на улице вас словно хлестнет внезапное желание, оставив до самой ночи в каком-то смутном беспокойстве и чувственном возбуждении. Она была высокая, с тонкой талией и широкими бедрами, с очень смуглой кожей, с огромными глазами и черными как смоль волосами. Платье отчетливо обрисовывало тугие округлости ее тела, и их еще более подчеркивали движения бедер, которые она напрягала, чтобы раскачаться. Ее вытянутые руки держались за веревки над головой, и грудь плавно вздымалась при всяком толчке, который она давала качелям. Шляпа, сорванная порывом ветра, упала позади нее. Качели мало-помалу приобрели размах, открывая при каждом подъеме ее стройные ноги до колен и овеявая лица обоих улыбавшихся мужчин дуновением ее юбок, пьянящим сильнее винных паров.

Сидя на других качелях, г-жа Дюфур монотонно и непрерывно стонала:

– Сиприен, подтолкни меня! Подтолкни же меня, Сиприен!

Наконец муж подошел к ней, засучив рукава, словно для нелегкой работы, и с бесконечным трудом помог ей раскачаться.

Вцепившись руками в веревки, вытянув ноги, чтобы не задевать за землю, она наслаждалась убаюкивающим движением качелей. Формы ее непрестанно трепетали от толчков, как желе на блюде.

Но размах качелей увеличивался, у нее начинала кружиться голова, и ей стало боязно. Опускаясь, она всякий раз издавала пронзительные крики, так что сбежались окрестные мальчишки, и она смутно видела перед собою, над садовой изгородью, их шаловливые лица, гримасничавшие от смеха.

Подошла служанка, и ей заказали завтрак.

– Жареной рыбы из Сены, тушеного кролика, салат и десерт, – солидно произнесла г-жа Дюфур.

– Принесите два литра столового вина и бутылку бордо, – сказал ее муж.

– Есть будем на траве, – добавила девушка.

Бабушка, умилившаяся при виде трактирного кота, преследовала его уже минут десять, бесплодно расточая ему самые сладкие ласкательные названия. Животное, может быть, и польщенное таким вниманием, держалось на близком расстоянии от протянутой руки старушки, но не давало ей к себе прикоснуться и спокойно обходило все деревья, о которые терлось, задрав хвост и слегка урча от удовольствия.

– Смотрите! – закричал вдруг желтоволосый малый, слонявшийся по всем углам. – Вот это лодки так лодки!

И все пошли поглядеть. В небольшом деревянном сарае были подвешены два великолепных ялика для речного спорта, стройные и изящно отделанные, точно роскошная мебель. Длинные, узкие, блестящие, они были подобны двум высоким, стройным девушкам; они возбуждали желание скользить по воде в чудный, тихий вечер или в ясное летнее утро, проноситься мимо цветущих берегов, где деревья купают ветви в воде, где в непрерывной дрожи шелестят камыши и откуда, словно голубые молнии, вылетают проворные зимородки.

Семейство почтительно любовалось яликами.

– О да! Это действительно лодки, – степенно подтвердил г-н Дюфур.

И он стал подробно разбирать их достоинства с видом знатока. По его словам, в молодые годы он тоже занимался речным спортом, а с эдакой штукой в руке – и он делал движение, будто гребет веслами, – ему на все было наплевать. В свое время на гонках в Жуанвиле он побил не одного англичанина. И он стал острить словом «дамы», которым называют уключины, удерживающие весла, говоря, что гребцы-любители недаром никогда не выезжают без «дам». Разглагольствуя, он приходил в азарт и упорно предлагал побиться об заклад, что с такой лодкой он, не торопясь, отмахает шесть миль в час.

– Кушанье подано, – сказала служанка, показавшись в дверях.

Все заторопились, но тут оказалось, что на лучшем месте, которое г-жа Дюфур мысленно облюбовала, уже завтракали два молодых человека. То были, несомненно, владельцы яликов, ибо они были одеты в костюмы гребцов.

Они развалились на стульях полулежа. Лица их почернели от загара, грудь была прикрыта лишь тонким белым бумажным трико, а руки, сильные и мускулистые, как у кузнецов, были обнажены. Эти дюжие молодцы рисовались своей силой, но во всех их движениях была все же та упругая грация, которая приобретается физическими упражнениями и столь отлична от телесных уродств, налагаемых на рабочего тяжелым однообразным трудом.

Они быстро обменялись улыбкой при виде матери и переглянулись, заметив дочь.

– Уступим место, – сказал один из них. – Это даст нам возможность познакомиться.

Другой тотчас же поднялся и, держа в руке свой наполовину красный, наполовину черный берет, рыцарски предложил уступить дамам единственное место в саду, где не было солнечных лучей. Предложение приняли, рассыпавшись в извинениях, и семейство расположилось на траве без стола и стульев, чтобы придать завтраку еще более сельский характер.

Оба молодых человека перенесли свои приборы на несколько шагов в сторону и продолжали завтракать. Их обнаженные руки, которые все время были на виду, несколько стесняли девушку. Она даже подчеркнуто отворачивала голову и как будто не замечала их. Но г-жа Дюфур, более смелая, побуждаемая чисто женским любопытством, – оно, может быть, было и желанием, – все время поглядывала на них, вероятно, не без сожаления думая о скрытой уродливости своего мужа.

Она расселась на траве, подогнув ноги на манер портных, и то и дело ерзала на месте, утверждая, что к ней куда-то заползли муравьи. Г-н Дюфур, пришедший в дурное расположение духа от присутствия и любезности посторонних, старался усесться поудобнее, что ему так и не удавалось, а молодой человек с желтыми волосами молча ел за четверых.

– Какая чудная погода, сударь, – сказала толстая дама, обращаясь к одному из гребцов. Ей хотелось быть полюбезнее в благодарность за место, которое они уступили.

– Да, сударыня, – ответил он. – Вы часто ездите за город?

– О нет! Только раза два в году, чтобы подышать свежим воздухом. А вы, сударь?

– Я езжу сюда ночевать каждый вечер.

– Ах! Должно быть, это очень приятно?

– Еще бы, сударыня!

И он принялся описывать на поэтический лад свою каждодневную жизнь, чтобы сердца этих горожан, лишенных зелени, изголодавшихся по прогулкам в полях, сильнее забились той глупой любовью к природе, которая весь год томит их за конторками лавок.

Девушка, растроганная рассказом, подняла глаза и взглянула на лодочника. Г-н Дюфур разомкнул уста.

– Вот это жизнь, – сказал он и прибавил, обращаясь к жене: – Не хочешь ли еще кусочек кролика, милая?

– Нет, благодарю, мой друг.

Она снова обернулась к молодым людям и, указывая на их обнаженные руки, спросила:

– Неужели вам никогда не холодно так?

Они рассмеялись и повергли в ужас все семейство рассказами о своих невероятно утомительных поездках, о купании в испарине, о плавании среди ночных туманов; при этом они с силой колотили себя в грудь, чтобы показать, какой она издает звук.

– О, у вас действительно крепкий и здоровый вид, – сказал муж, не решаясь больше говорить о том времени, когда он побивал англичан.

Теперь девушка искоса разглядывала их. Желтоволосый малый, поперхнувшись, страшно закашлялся и забрызгал вином шелковое вишневое платье хозяйки, чем привел ее в негодование; она велела принести воды, чтобы замочить пятна.

Тем временем жара становилась нестерпимой. Сверкающая река казалась охваченной пламенем, а винные пары туманили головы.

Г-н Дюфур, которого одолела сильная икота, расстегнул жилет и верхнюю пуговицу брюк, а его жена, изнемогая от удушья, потихоньку распустила лиф своего платья. Приказчик весело потряхивал льняной гривой, то и дело подливая себе вина. Бабушка, чувствуя себя охмелевшей, держалась чрезвычайно прямо и с большим достоинством. Что касается молодой девушки, то по ней ничего нельзя было заметить; только глаза ее как-то неопределенно поблескивали, а румянец на смуглой коже щек стал еще более густым.

Кофе их доконал. Затеяли пение, и каждый пропел свой куплет, которому остальные бешено аплодировали. Затем с трудом поднялись на ноги; женщины, немного осовелые, едва переводили дух, а г-н Дюфур и желтоволосый малый, окончательно опьяневшие, занялись гимнастическими упражнениями. Тяжелые, вялые, с багровыми физиономиями, они неуклюже свисали с колец, не имея силы подтянуться на руках; их рубашки поминутно грозили вылезти из брюк и уподобиться знаменам, развевающимся на ветру.

Между тем лодочники спустили свои ялики на воду и вернулись, любезно предлагая дамам прокатиться по реке.

– Дюфур, ты разрешаешь? Прошу тебя! – воскликнула жена.

Он посмотрел на нее пьяными глазами, ничего не понимая. Один из гребцов подошел к нему с двумя удочками в руке. Надежда поймать пескаря, заветная мечта каждого лавочника, засветилась в тусклых глазах простака; он разрешил все, о чем его просили, и расположился в тени, под мостом, свесив ноги над рекою, рядом с желтоволосым малым, который тут же и заснул.

Один из гребцов пожертвовал собою: он взял в свою лодку мамашу.

– В лесок на остров англичан! – крикнул он, удаляясь.

Другой ялик поплыл медленнее. Гребец так загляделся на свою спутницу, что уже ни о чем не думал, и им овладело волнение, парализовавшее его силы.

Девушка, сидя на скамье рулевого, отдавалась сладостному ощущению прогулки по воде. Она чувствовала полную неспособность размышлять, покой всего тела, томное забытие, как бы растущее опьянение. Она раздумялась, и дыхание ее стало прерывистым. Под влиянием винного дурмана, усиливаемого струившимися вокруг дуновениями жары, ей стало казаться, что береговые деревья кланяются на ее пути. Смутная жажда ласк, брожение крови разливались по ее телу, возбужденному зноем этого дня; в то же время ее смущало, что здесь, на воде, среди этой местности, где пожар небес словно истребил все живое, она очутилась наедине с любующимся ею молодым человеком, чьи глаза как бы осыпали поцелуями ее кожу, чье желание обжигало ее, как солнечные лучи.

Они не способны были вести разговор и глядели по сторонам, отчего их волнение еще более возрастало. Наконец, сделав над собой усилие, он спросил, как ее зовут.

– Анриетта, – сказала она.

– Какое совпадение! Меня зовут Анри! – ответил он.

Звук голосов несколько успокоил их: они заинтересовались берегом. Другой ялик остановился и, казалось, поджидал их. Гребец крикнул:

– Мы присоединимся к вам в лесу, а пока поедем к Робинзону: моей даме хочется пить.

После этого он налег на весла и стал так быстро удаляться, что скоро скрылся из виду.

Непрерывный рокот, уже некоторое время смутно доносившийся издали, стал стремительно нарастать. Самая река как будто содрогалась, словно этот глухой шум исходил из ее глубин.

– Что это за гул? – спросила Анриетта.

То было падение воды в шлюзе, пересекавшем реку у мыса острова. Анри старался объяснить, но вдруг среди этого грохота их слух поразило пение птицы, долетевшее как будто очень издалека.

– Скажите! – промолвил он. – Соловьи запели днем, значит, самки уже сидят на яйцах.

Соловей! Она никогда не слыхала его пения, и мысль услышать его вызвала в ее сердце нежные, поэтические образы. Соловей! Ведь это невидимый свидетель любовных свиданий, которого призывала на своем балконе Джульетта; это небесная музыка, звучащая в лад с поцелуями людей; это вечный вдохновитель всех томных романсов, раскрывающих лазоревые идеалы перед бедными сердечками растроганных девочек!

Она сейчас услышит соловья!

– Давайте не будем шуметь, – сказал ее спутник, – мы можем причалить и посидеть совсем около него.

Ялик неслышно скользил по воде. Показались деревья острова, берега которого были такие пологие, что глаз проникал в самую гущу заросли. Причалили, привязали лодку, и Анриетта, опираясь на руку Анри, стала пробираться с ним между ветвями.

– Наклонитесь, – сказал он.

Она нагнулась, и сквозь перепутанную чашу ветвей, листвы и камышей они проникли в убежище, которое невозможно было бы найти, не зная о нем; молодой человек, смеясь, называл его своим «отдельным кабинетом».

Как раз над их головами, на одном из деревьев, которые укрывали их, заливался соловей. Он сыпал трелями и руладами, его сильные вибрирующие ноты наполняли все пространство и словно терялись за горизонтом, раскатываясь вдоль реки и уносясь вдаль, по полям, в знойной тишине, нависшей над равниной.

Они сидели рядом и молчали, боясь спугнуть птицу. Рука Анри медленно охватила талию Анриетты и сжала ее нежным объятием. Она, не сердясь, отвела эту дерзкую руку и отводила

снова, когда та приближалась опять; впрочем, девушка не испытывала никакого смущения от этой ласки, как будто совершенно естественной и которую она так же естественно отстраняла.

Она слушала соловьиное пение, замирая от восторга. В ней пробуждалась бесконечная жажда счастья; всем ее существом овладевали внезапные порывы нежности, словно откровения неземной поэзии. Нервы ее так ослабли и сердце так размягчилось, что она заплакала, сама не зная почему. Теперь молодой человек прижимал ее к себе, и она уже его не отстраняла, потому что просто не думала об этом.

Внезапно соловей умолк. Голос в отдалении крикнул:

– Анриетта!

– Не отвечайте, – сказал он шепотом, – вы спугнете птицу.

Но она и не думала отвечать.

Так они продолжали сидеть некоторое время.

Вероятно, и г-жа Дюфур была где-то неподалеку, потому что время от времени смутно слышались легкие вскрикивания толстой дамы, с которой, видимо, заигрывал другой лодочник.

Молодая девушка продолжала плакать; она испытывала какое-то удивительное сладостное чувство и ощущала на своей разгоряченной коже незнакомые ей щекочущие уколы. Голова Анри покоилась на ее плече, и вдруг он поцеловал ее в губы. В ней вспыхнуло страшное возмущение, и, желая отстраниться, она откинулась на спину. Но он упал на нее всем телом. Он долго преследовал ускользавший от него рот, наконец настиг и прильнул к нему. Тогда и сама она, обезумев от бурного желания, прижимая его к своей груди, вернула поцелуй, и все ее сопротивление сломилось, словно раздавленное чрезмерной тяжестью.

Все было спокойно вокруг. Соловей запел снова. Сначала он испустил три пронзительные ноты, походившие на любовный призыв, затем, после минутного молчания, ослабевшим голосом начал выводить медленные модуляции.

Пронесся нежный ветерок, зашуршав листвою, и в чаще ветвей раздались два страстных вздоха, которые слились с пением соловья, с легким шорохом леса.

Соловьем словно овладело опьянение, и голос его, постепенно усиливаясь, как разгорающийся пожар, как все нарастающая страсть, казалось, вторил граду поцелуев под деревом. Затем его упоенное пение перешло в неистовство. Временами он долго замирал на одной ноте, как бы захлебываясь мелодией.

Иногда он немного отдыхал, испуская лишь два-три легких протяжных звука и заканчивая их высокой пронзительной нотой. Или же переходил на бешеный темп с переливами гамм, с вибрациями, с каскадами отрывистых нот, подобных песне безумной любви, завершающейся победными кликами.

Но вот он умолк, прислушиваясь к раздававшемуся внизу стону, такому глубокому, что его можно было бы принять за прощальный стон души. Звук этот длился несколько мгновений и завершился рыданием.

Покидая свое зеленое ложе, оба они были страшно бледны. Голубое небо казалось им померкшим; пламенное солнце в их глазах погасло; они ясно ощущали одиночество и безмолвие. Они быстро шли рядом, не разговаривая, не прикасаясь друг к другу, словно стали непримиримыми врагами, словно тела их испытывали взаимное отвращение, а души – взаимную ненависть.

Время от времени Анриетта звала:

– Мама!

Под одним из кустов поднялась суматоха. Анри показалось, что он видел, как белую юбку поспешно опустили на жирную икру, и вот появилась необъятная дама, немного сконфуженная, еще более раскрасневшаяся, с сильно блестящими глазами, с бурно волнующейся гру-

дью и, пожалуй, слишком близко держась к своему спутнику. Последний, вероятно, навидался немало забавного: по лицу его против воли пробежали внезапные усмешки.

Г-жа Дюфур нежно взяла его под руку, и обе парочки пошли к лодкам. Анри, все так же безмолвно шедший впереди рядом с девушкой, как будто услышал заглушенный звук долгого поцелуя.

Наконец вернулись в Безонс.

Протрезвившийся г-н Дюфур начинал терять терпение. Желтоволосый малый закусывал перед отъездом. Тележка стояла запряженная во дворе, а бабушка, уже усевшаяся в нее, была вне себя от отчаяния и страха: ночь застанет их на равнине, а ведь окрестности Парижа небезопасны.

Обменялись рукопожатиями, и семейство Дюфур уехало.

– До свидания! – кричали лодочники.

Ответом им были вздох и скатившаяся слеза.

Два месяца спустя, проходя по улице Мартир, Анри прочитал на одной двери:
Дюфур, скобяная торговля.

Он вошел.

Толстая дама пышно цвела за прилавком. Друг друга узнали тотчас же, и после обмена множеством любезностей он спросил:

– А как поживает мадемуазель Анриетта?

– Прекрасно, благодарю вас, она замужем.

– Ах!..

Волнение душило его; он продолжал:

– А... за кем?

– Да за тем молодым человеком, который, помните, тогда сопровождал нас: он будет преемником в нашем деле.

– Вот что!..

Он собрался уходить, глубоко опечалившись, сам не зная почему.

Г-жа Дюфур окликнула его.

– А как поживает ваш приятель? – застенчиво спросила она.

– Прекрасно.

– Поклонитесь ему от нас, не забудьте; а если ему случится проходить мимо, скажите, чтобы он зашел повидаться...

Она густо покраснела и прибавила:

– Это доставит мне большое удовольствие; так и скажите ему.

– Непременно. Прощайте!

– Нет... до скорого свидания!

Год спустя, как-то в воскресенье, когда было очень жарко, Анри припомнил вдруг все подробности этого приключения, припомнил так ярко и заманчиво, что один вернулся в их лесной приют.

Войдя туда, он изумился. Там была она. С грустным видом сидела она на траве, а рядом с нею, по-прежнему без пиджака, спал, как сурок, ее муж, желтоволосый молодой человек.

Увидев Анри, она побледнела, и он испугался, не стало бы ей дурно. Затем они начали разговаривать так непринужденно, словно ничего между ними не произошло.

Но когда он сказал ей, что очень любит это местечко и часто приезжает сюда по воскресеньям отдохнуть и предаться воспоминаниям, она посмотрела ему в глаза долгим взглядом.

– А я об этом думаю каждый вечер.

– Ну, голубушка, – сказал, зевая, проснувшийся муж, – нам словно бы пора и домой.

Подруга Поля

Ресторан Грийона, этот фаланстер любителей гребного спорта, понемногу пустел. У входа стоял громкий гомон восклицаний и окликов; рослые молодцы в белом трико жестикулировали, держа весла на плечах. Женщины в светлых весенних нарядах осторожно входили в ялики и, усаживаясь на корме, оправляли платья; хозяин заведения, здоровенный рыжебородый малый, известный силач, подавал руку красоткам, удерживая в равновесии утлые суденышки.

Гребцы, с обнаженными руками и выпяченной грудью, усаживались в свою очередь, стараясь обратить на себя внимание публики – разодетых по-праздничному буржуа, рабочих и солдат, которые, облокотясь о перила моста, любовались этим зрелищем.

Лодки одна за другою отчаливали от пристани. Гребцы равномерным движением нагибались вперед, затем откидывались назад, и от толчка длинных изогнутых весел быстрые ялики скользили по реке, все удалялись, все уменьшались и исчезали наконец под железнодорожным мостом, направляясь к Лягушатне.

Осталась только одна парочка. Молодой человек, еще безбородый, тонкий, с бледным лицом, держал за талию свою любовницу, маленькую, худенькую брюнетку с ужимками стрекоты; порою они обменивались глубоким взглядом.

Хозяин закричал:

– Ну, господин Поль, поторапливайтесь!

И они подошли ближе.

Из всех клиентов ресторана г-н Поль пользовался наибольшей любовью и уважением. Он расплачивался щедро и аккуратно, тогда как другим приходилось часто и долго напоминать, а то они и вовсе исчезали, не расплатившись. Кроме того, он представлял для заведения своего рода живую рекламу, так как отец его был сенатором. Иногда какой-нибудь посторонний посетитель спрашивал:

– Кто такой этот юнец, который так льнет к своей девице?

И кто-либо из завсегдатаев отвечал вполголоса с важным и таинственным видом:

– Это Поль Барон, знаете, сын сенатора.

– Бедняга! Завяз по уши! – неизменно вырывалось у собеседника.

Тетка Грийон, ловкая женщина, понимавшая толк в торговле, называла молодого человека и его подругу «своими двумя голубками» и делала вид, что растрогана этой любовью, выгодной для ее заведения.

Парочка подходила тихими шагами; ялик *Мадлена* был готов; прежде чем сесть в него, они поцеловались, вызвав смех среди публики, собравшейся на мосту. Взявшись за весла, г-н Поль тоже отпавился к Лягушатне.

Когда они приехали туда, было уже около трех часов, и большое плавучее кафе кишмя кишело народом.

Огромный плот под просмоленной крышей на деревянных столбах соединен с очаровательным островом Круасси двумя мостиками: один из них приводит в самый центр этого плавучего заведения, а другой соединяет конец его с крошечным островком, по прозвищу «Цветочный горшок», где растет одно-единственное дерево; оттуда этот мостик доходит до суши близ конторы купален.

Г-н Поль привязал лодку у помоста кафе, перебрался через перила, взял на руки и перенес свою любовницу, и они уселись за столом друг против друга.

По другую сторону реки, на берегу, вытянулась в ряд длинная вереница экипажей. Тут стояли тяжелые фиакры – огромные кузова на продавленных рессорах, – запряженные клячей с понурой шеей и разбитыми ногами. Тут стояли изящные кареты щеголей, стройные и тонкие,

покачивавшиеся на узких колесах; у их лошадей были сухие, сильные ноги, крутая шея, удила в белоснежной пене, а чопорный ливрейный кучер, выпрямив голову, подпираемую высоким воротником, держал натянутые вожжи, упирая бич о колено.

Весь берег реки был усеян людьми, которые шли то семьями, то компаниями, то парами, то в одиночку. Они срывали по дороге травинки, спускались к воде, снова подымались на дорогу и, дойдя до одного и того же места, останавливались в ожидании перевозчика. Тяжелый паром беспрестанно передвигался с одного берега на другой, выгружая пассажиров на остров.

Рукав реки, прозванный «Мертвым», на который выходит эта плавучая пристань с кафе, казалось, спал – такое слабое было в нем течение. Целые флотилии яликов, гичек, душегубок, челноков, байдарок, лодок самых разнообразных форм и названий скользили по неподвижной воде, скрещиваясь, смешиваясь, сцепляясь между собой; порой они внезапно останавливались от резкого движения рук, а затем снова неслись, повинаясь порывистому напряжению мускулов, и проворно скользили, подобно длинным желтым или красным рыбам.

Прибывали все новые и новые лодки: одни из Шату направлялись вверх по реке, другие из Буживаля – вниз по течению; от одной лодки к другой по воде летели смех, призывы, вопросы и перебранка. Под знойными лучами жаркого дня катающиеся щеголяли загорелым телом и выпуклыми мускулами, а на корме лодок, словно причудливые плавучие цветы, распускались шелковые зонтики – красные, голубые, зеленые и желтые.

В небе пылало июльское солнце; весь воздух, казалось, пропитан был жгучим весельем; ни малейшее дуновение ветерка не нарушало покоя листвы ив и тополей.

В резком освещении уступами вздымались укрепленные откосы неизбежного, отовсюду видневшегося Мон-Валерьена; с правой же стороны восхитительный берег Лувесьена загибался полукругом, вместе с поворотом реки, и там, сквозь мощную, темную зелень больших садов, кое-где виднелись белые стены загородных дач.

Перед входом в Лягушатню, под гигантскими деревьями, которые превращают этот уголок острова в самый очаровательный парк в мире, прохаживалась толпа гуляющих. Женщины, желтоволосые, широкозадые проститутки, с чрезмерно выступающими грудями, с наштукатуренными лицами, с подведенными глазами, с кроваво-красными губами, затянутые и зашнурованные, в вычурных платьях, волочили по свежему газону кричащие, безвкусные наряды; а рядом с ними позировали молодые люди в костюмах, скопированных с модной картинки, в светлых перчатках, лакированных ботинках, с тоненькими тросточками и с моноклями, подчеркивавшими всю глупость их улыбок.

Остров сужается как раз у Лягушатни, а на другом берегу, где тоже работает паром, все время подвозящий народ из Круасси, несется, как бурный поток, быстрый рукав реки, полный водоворотов, омутов, пены. На том берегу был лагерь понтонеров в артиллерийской форме, и солдаты, сидя рядышком на длинном бревне, поглядывали, как течет мимо них вода.

В плавучем заведении царили страшный гам и толкотня. За деревянными столиками, где от пролитых напитков образовались липкие ручейки, у недопитых стаканов сидели полупьяные люди. Вся эта толпа кричала, пела, горланила. Мужчины, сдвинув шляпы на затылок, покрасневшись, с блестящими пьяным блеском глазами, размахивали руками и галдели из животной потребности шума. Женщины в поисках добычи на предстоящий вечер пока угощались за чужой счет напитками, а в свободном пространстве между столами околачивались обычные посетители этого заведения – отряд гребцов, любителей скандальных танцев, и их подружки в коротких фланелевых юбках.

Один из них неистовствовал у пианино, словно играя руками и ногами; четыре пары отхватывали кадрили, а на них глядели элегантные и корректные молодые люди, которые, пожалуй, могли бы казаться вполне порядочными, если бы в них не проглядывало несмываемое клеймо порока.

Здесь можно вдыхать испарения жизненной накипи, всего изощренного распутства, всей плесени парижского общества; здесь можно встретить вперемежку мелких приказчиков, дрянных актеров, журналистов третьего разбора, отданных под опеку дворян, мелких биржевых плутов, кутил с замаранной репутацией, старых истасканных волокит; здесь подозрительная толчея всех сомнительных личностей, наполовину известных, наполовину забытых, наполовину еще встречаемых поклонами, наполовину уже окончательно ошельмованных – жуликов, мошенников, сводников, авантюристов с манерами, полными достоинства, с тем видом хвастливой храбрости, который словно говорит: «Первого, кто назовет меня негодяем, я пришибу на месте».

Это место все пропиталось скотством, от него разит гнусностью и рыночным ухажерством. Самцы и самки здесь стоят друг друга. Здесь носится в воздухе запах любви, и здесь вызывают на дуэль ни за что ни про что – ради того, чтобы поддержать прогнившую репутацию, хотя удары шпаги и пистолетные пули разрушают ее лишь еще более.

Некоторые окрестные жители проводят здесь из любопытства каждое воскресенье; ежегодно здесь появляется несколько юношей, совсем еще молодых, жаждущих пройти науку жизни. Порою сюда случайно заходят с прогулки; иногда здесь запутывается и какой-нибудь наивный человек.

Это место по праву носит название Лягушатни: рядом с крытым плотом, на котором пьют и едят, и близ самого «Цветочного горшка» устроено купанье. Те из женщин, которые обладают достаточной округленностью форм, приходят сюда, чтобы выставить свой товар в обнаженном виде и залучить клиента. Другие же с напускным презрением – хотя они подбиты ватой, подперты пружинами, выпрямлены здесь, подправлены там, – пренебрежительно глядят, как барахтаются в воде их сестры.

На маленькой платформе толпятся пловцы, бросающиеся в реку вниз головой. Длинные, как жерди, или круглые, как тыква, или узловатые, как ветка маслины, то согнутые вперед, то откинутае назад из-за выпяченного живота, но все неизменно безобразные, они прыгают в воду, обдавая брызгами посетителей кафе.

Несмотря на огромные, склонившиеся над плавучим домом деревья и на близость воды, душливая жара наполняла это место. Испарения пролитых ликеров смешивались в этом пекле с запахом человеческих тел и острых духов, которыми пропитана кожа продавщиц любви. Сквозь все эти разнообразные запахи пробивался легкий аромат рисовой пудры; порою он исчезал, но постоянно появлялся снова, словно чья-то скрытая рука потрясала в воздухе невидимой пуховкой.

Самое интересное зрелище было на реке, где непрерывное шныряние лодок взад и вперед привлекало все взоры. Подруги лодочников сидели, небрежно откинувшись на спинку скамьи, напротив своих самцов с их не знавшими устали руками, и презрительно оглядывали бродящих по острову искательниц дарового обеда.

По временам какая-нибудь лодка, разогнавшись, проносилась с большой скоростью мимо; приятели гребцов, уже высадившиеся на сушу, приветствовали ее криками, и вся публика, внезапно охваченная безумием, подымала дикий вой.

На излуине реки, со стороны Шату, то и дело показывались новые лодки. Они приближались, увеличивались в размерах, и, когда становилось возможным узнать лица сидящих в них, раздавались новые выкрики.

Вниз по течению медленно плыла покрытая тентом лодка, которой управляли четыре женщины. На веслах сидела маленькая, худая, поблекшая, одетая юнгой; волосы ее были зачесаны под клеенчатую матросскую шляпу. Напротив нее находилась белобрысая толстуха, одетая мужчиной, в белом фланелевом пиджаке; разлегшись на дне лодки, задрав ноги и положив их на скамью по бокам той, которая гребла, она курила папиросу, и при каждом взмахе весел ее груди и живот колыхались, встряхиваемые толчком лодки. На корме под тентом сидели,

обнявшись за талию, две красивые, высокие, стройные девушки, блондинка и брюнетка, не сводившие глаз со своих спутниц.

По Лягушатне пронесся крик:

– А вот и Лесбос!

Разразился бешеный гвалт, началась ужасная давка; стаканы летели на пол, люди влезали на столы, все, обезумев от шума, орало:

– Лесбос! Лесбос! Лесбос!

Крик раскатывался по всему кафе, становился нечленораздельным, превращался в какое-то ужасающее завывание и внезапно, как бы с новым порывом, подымался ввысь, взлетая над равниной, внедряясь в густую листву огромных деревьев, разносясь к далеким холмам, поднимаясь к самому солнцу.

Женщина, сидевшая на веслах, при виде такой овации перестала грести. Белобрысая толстуха, лежавшая на дне лодки, небрежно повернула голову, приподнявшись на локте, а обе красивые девушки на корме, смеясь, стали раскланиваться с толпой.

Вопли удвоились, от них задрожало все плавучее кафе. Мужчины приподымали шляпы, женщины махали платками, и все эти голоса, визгливые или густые, кричали:

– Лесбос! Лесбос!

Вся эта толпа, этот сброд развратников, словно приветствовала своего вождя; так эскадра салютует пушечными выстрелами проплывающему мимо ее фронта адмиральскому кораблю.

Многочисленная флотилия лодок, в свою очередь, встретила громкими кликами челнок с женщинами, и он, возобновив свой сонный ход, пристал к мосткам немного ниже.

В противоположность другим г-н Поль вынул из кармана ключ и изо всех сил свистел в него. Его любовница, возбужденная, побледневшая, схватила его за руку, чтобы заставить замолчать, и глядела на него с бешенством в глазах. А он, казалось, выходил из себя: им овладела ревность мужчины, глубокий, инстинктивный, неудержимо-бешеный гнев. Губы его тряслись от негодования, и он бормотал:

– Какой позор! Утопить бы их, как сук, с камнем на шее.

Но Мадлена вспыхнула; ее крикливый голосок стал свистящим, и она затараторила, словно говоря в собственную защиту:

– А тебе-то что? Разве они не вольны делать, что им хочется, если это никого не касается? Убирайся к черту со своей моралью, не суйся куда не просят...

Он перебил ее:

– Это дело полиции, и я добьюсь, что их упрячут в Сен-Лазар!

Она подскочила:

– Ты?

– Да, я! А пока я запрещаю тебе с ними разговаривать, слышишь? Запрещаю!

Она пожала плечами и, внезапно успокоившись, заявила:

– Вот что, мой милый, я буду делать что захочу; а если тебе не нравится, можешь убираться на все четыре стороны, хоть сейчас. Я тебе не жена ведь? Ну так и помалкивай.

Он не ответил; они сидели друг против друга, стиснув зубы и порывисто дыша.

На противоположном конце обширного помоста кафе торжественно появились четыре женщины. Впереди шли две переодетые мужчинами; одна худая, похожая на мальчугана со старообразным лицом, с желтыми тенями на висках; другую распирало от жира в ее белом фланелевом костюме, и, выпятив круп в широких брюках, с огромными ляжками и вогнутыми внутрь коленками, она раскачивалась, как откормленная гусыня. За ними следовали две их подруги; толпа лодочников подходила позвать им руки.

Они вчетвером нанимали небольшую дачку на берегу реки и жили там как две семьи.

Их разврат был на виду у всех, как бы официально признан, всем очевиден. О нем говорили как о чем-то естественном и даже возбуждавшем симпатию к ним; при этом шушукались

о странных историях, о драмах, порожденных свирепой женской ревностью, и о тайных посещениях их дачки женщинами, пользующимися известностью, актрисами.

Возмущенный этими скандальными слухами, один из соседей сообщил о них жандармскому управлению, и бригадир в сопровождении солдата явился для производства дознания. Задача была щекотливая: ничего ведь, собственно, нельзя было поставить в вину этим женщинам, проституцией они не занимались. Бригадир оказался в крайне затруднительном положении, тем более что даже приблизительно не был знаком с природой подозреваемого преступления; он произвел допрос более или менее наугад и написал пространный рапорт с заключением о невиновности обвиняемых.

Над этим рапортом смеялись вплоть до самого Сен-Жерменского предместья.

Они шли по Лягушатне медленным шагом, словно королевы, и, казалось, гордились своей известностью, радовались устремленным на них взглядам, сознавали свое превосходство над этой толпой, над этой чернью, над этим плебсом.

Мадлена и ее любовник следили за их приближением, и в ее глазах зажегся огонек.

Когда первые две приблизились к их столу, Мадлена крикнула:

– Полина!

Толстуха обернулась и остановилась, держа под руку своего маленького юнгу женского пола.

– Каково! Мадлена... Подойди, поговорим, дорогая.

Поль судорожно стиснул пальцами руку любовницы, но она сказала:

– Знаешь что, милый, можешь проваливать на все четыре стороны.

Тон ее был таков, что он промолчал и остался один.

Три женщины, остановившись, заговорили вполголоса. Радостные улыбки мелькали на их губах, они оживленно болтали, и Полина время от времени исподтишка поглядывала на Поля с насмешливой и злой улыбкой.

Под конец он не выдержал; порывисто поднявшись, он подбежал к ним и, дрожа всем телом, схватил Мадлену за плечи.

– Идем, я требую, – сказал он, – я запретил тебе разговаривать с этими шлюхами.

Но Полина возвысила голос и стала ругаться, пустив в ход весь словарь базарной торговли. Кругом них смеялись, подходили поближе, подымались на цыпочки, чтобы лучше видеть. Он стоял, онемев под этим градом зловонной брани; ему казалось, что слова, вылетающие из ее рта и сыпавшиеся на него, пачкали его, как нечистоты; желая избежать надвигавшегося скандала, он отошел назад, на прежнее место, и облокотился на перила лицом к реке, повернувшись спиной к трем женщинам-победительницам.

Там он и остался, глядя на реку и смахивая порою поспешным движением пальца, словно срывая, слезу, набегавшую ему на глаза.

Дело в том, что он полюбил безумною любовью, сам не зная почему, вопреки своему тонкому вкусу, вопреки своему разуму, вопреки даже собственной воле. Он упал в пропасть этой любви, как падают в яму, полную жидкой грязи. Нежный и утонченный от природы, он мечтал о связи изысканной, идеальной и страстной, а его захватила, пленила, овладела им целиком с ног до головы, душою его и телом, эта женщина-стрекоза, глупая, как все девки, глупая выводящей из терпения глупостью, некрасивая, худая и сварливая. Он подчинился этим женским чарам, загадочным и всемогущим, этой таинственной силе, этой изумительной власти, неведомо откуда берущейся, порожденной бесом плоти и повергающей самого разумного человека к ногам первой попавшейся девки, хотя бы ничто в ней и не могло объяснить ее рокового и непреодолимого господства.

Он чувствовал, что там, за его спиной, готовится какая-то гадость. Долетавший смех терзал ему сердце. Что ему делать? Он прекрасно знал это, но сделать этого не мог.

Он пристально глядел на противоположный берег, где какой-то человек неподвижно сидел у своих удочек.

Вдруг резким движением рыболов вытащил из реки серебряную рыбку, извивавшуюся на конце лесы. Пытаясь высвободить крючок, он выворачивал его, но напрасно; тогда он дернул в нетерпении и вырвал всю окровавленную глотку рыбы вместе с внутренностями. Поль содрогнулся, как будто растерзали его самого; ему представилось, что крючок – это его любовь, что если придется ее вырывать, то все из его груди точно так же будет выдернуто глубоко впившимся в него загнутым кусочком железа, и что лесу держит Мадлена.

Чья-то рука легла ему на плечо; он вздрогнул и обернулся: рядом с ним стояла его любовница. Она тоже облокотилась о перила и молча стала глядеть на реку.

Он думал о том, что ему следовало бы сказать ей, и ничего не мог придумать. Он не мог даже разобраться в своих переживаниях; он сознавал только радость от ее близости, от ее возвращения и позорное малодушное чувство, желание все простить, все позволить, лишь бы она его не покидала.

Спустя несколько минут он спросил ее вкрадчивым, мягким голосом:

– Не хочешь ли уехать отсюда? На лодке будет лучше.

Она отвечала:

– Да, котик.

Он помог ей спуститься в ялик, поддерживая ее, пожимая ей руки, растроганный до глубины души и все еще со слезами на глазах. Она с улыбкой взглянула на него, и они поцеловались снова.

Они медленно поплыли вверх по реке вдоль берега, обсаженного ивами, поросшего травой, погруженного в теплую тишину послеполуденной поры.

Когда они вернулись к ресторану Грийона, было около шести часов. Оставив свой ялик, они отправились пешком, по направлению к Безонсу, по лугам, вдоль ряда высоких тополей, окаймляющих берег реки.

Густая трава, готовая к косовице, пестрела цветами. Солнце, клонившееся к закату, разостлало поверх нее скатерть рыжеватого света; в смягченной жаре угасавшего дня реющие благоухания трав смешивались с влажным запахом реки, насыщали воздух нежной истомой, легкой радостью, какою-то дымкой блаженства.

Мягкая полудрема овладевала сердцами, которые как бы приобщались к этому тихому сиянию вечера, этому смутному и таинственному трепету разлитой вокруг жизни, этой меланхолической поэзии, проникающей все, точно излучаемой растениями и всем окружающим, расцветающей и открывающейся восприятию людей в этот час тихого раздумья.

Он чувствовал все это, но она этого не понимала. Они шли рядом, и вдруг, словно устав от молчания, она завела пронзительным и фальшивым голосом какую-то уличную песенку, затасканный мотив, резко нарушивший глубокую и ясную гармонию вечера.

Он взглянул на нее и ощутил между нею и собой непроходимую пропасть. Мадлена сбивала зонтиком травинки, склонив голову и разглядывая свои ноги; она все пела и пела, растягивая ноты, пробуя выводить рулады, дерзая запускать трели.

Так, значит, ее маленький, узкий лобик, столь им любимый, был пуст, совершенно пуст! Значит, за ним не было ничего, кроме этой шарманочной музыки, а мысли, которые там случайно складывались, были подобны этой музыке! Она ничего в нем не понимала; они были более отдалены друг от друга, чем если бы жили врозь. Значит, его поцелуи никогда не проникали глубже ее губ?

Но тут она подняла на него глаза и еще раз улыбнулась ему. Это взволновало его до мозга костей, и, раскрыв объятия, он страстно обнял ее с новым приливом любви.

Так как он мял ей платье, она высвободилась наконец, промолвив в утешение:

– Право же, я очень тебя люблю, котик!

Но он обнял ее за талию и, обезумев, увлек ее бегом за собою; он осыпал поцелуями ее щеки, висок, шею, прыгая от радости. Запахавшись, они упали под кустом, пылавшим в лучах заходящего солнца, и соединились, не успев даже перевести дух, хотя она не могла понять причину его возбуждения.

Они возвращались, держась за руки, как вдруг сквозь деревья увидели на реке лодку с четырьмя женщинами. Толстая Полина тоже заметила их и привстала, посылая воздушные поцелуи Мадлене.

– До вечера! – крикнула она.

Мадлена тоже ответила:

– До вечера!

Полю показалось, что сердце его вдруг оледенело.

Они вернулись пообедать.

Они поместились в беседке на берегу реки и молча принялись за еду. Когда стемнело, им принесли свечу в стеклянном шаре, освещавшую их слабым мерцающим светом; из большой залы второго этажа то и дело долетали крики гребцов.

Когда подали десерт, Поль, нежно взяв руку Мадлены, сказал ей:

– Я очень устал, голубка; если ты не против, мы ляжем пораньше.

Но она поняла его хитрость и взглянула на него с тем загадочным, коварным выражением, которое так внезапно появляется в глубине женских глаз. Затем, помолчав, ответила:

– Ложись, если хочешь, а я обещала пойти на бал в Лягушатню.

На его лице появилась жалкая улыбка, одна из тех улыбок, которыми скрывают самые ужасные страдания, и он сказал ласково и опечаленно:

– Будь так добра, останемся вместе.

Она отрицательно покачала головой, не открывая рта.

– Прошу тебя, моя козочка, – настаивал он.

Она резко оборвала его:

– Ты помнишь, что я сказала. Если недоволен – скатертью дорога. Никто тебя не удерживает. А я обещала – и пойду.

Он положил локти на стол, подпер голову руками и застыл в этой позе, отдавшись печальным думам.

Гребцы спустились вниз, продолжая орать. Они отъезжали на своих яликах, направляясь на бал в Лягушатню.

Мадлена сказала Полю:

– Если ты не едешь, – решай скорей; я попрошу одного из этих господ отвезти меня.

Поль встал.

– Едем! – промолвил он.

И они отправились в путь.

Ночь была темная, полная звезд; в воздухе веяло жаркое дыхание, тяжелое дуновение, насыщенное зноем, брожением, какими-то зародышами жизни, которые словно пропитывали собою ветер и замедляли его. Оно струилось по лицам теплою лаской, заставляя учащенной дышать, даже задыхаться – до того оно было густым и тяжелым.

Ялики пускались в путь, прикрепив на носу венецианские фонари. Самых лодок нельзя было различить; виднелись только эти маленькие разноцветные огоньки, проворные и пляшущие, похожие на обезумевших светляков; в темноте со всех сторон раздавались перекликавшиеся голоса.

Ялик молодой четы медленно скользил по воде.

Порою, когда мимо них, разогнавшись, проносилась лодка, они различали на миг белую спину гребца, озаренную светом его фонаря.

Обогнув излучину реки, они увидели в отдалении Лягушатню. Заведение было по-праздничному украшено жирандолями, гирляндами цветных плашек, гроздьями огней. По Сене медленно плыло несколько больших плотов, изображавших купола, пирамиды, сложные сооружения из разноцветных огней. Фестоны пламени тянулись до самой воды; красный или синий фонарь, водруженный там и сям на конце невидимого длинного удилища, казался огромной колеблющейся звездой.

Вся эта иллюминация распространяла сияние вокруг кафе и освещала снизу доверху высокие деревья, растущие по берегу; на густо-черном фоне полей и неба их стволы выделялись светло-серым, а листья зеленовато-молочным тоном.

Оркестр, состоящий из пяти музыкантов предместья, рассылал вдаль звуки жидкой трактирной танцевальной музыки, которая снова побудила Мадлену запеть.

Она пожелала войти немедленно. Полю хотелось сперва погулять по острову, но ему пришлось уступить.

Публика несколько отсееялась. Оставались почти одни только гребцы да несколько буржуа и молодых людей в сопровождении проституток. Распорядитель и хозяин этого притона был полон величия в своем помятом фраке; потрепанная физиономия этого старого торговца дешевыми развлечениями мелькала повсюду.

Ни толстой Полины, ни ее спутниц не было, и Поль вздохнул с облегчением.

Танцы начались: парочки одна против другой неистово плясали, подкидывая ноги до самого носа своих визави.

Самки с развинченными бедрами скакали, задирая юбки и показывая нижнее белье. Их ноги с непостижимой легкостью подымались выше голов; они раскачивали животами, дрыгали задом, трясли грудями, распространяя вокруг себя едкий запах вспотевших женщин.

Самцы приседали к земле, как жабы, с непристойными жестами, извивались, отвратительно гримасничая, ходили колесом на руках или же, пытаясь вызвать смех, кривлялись и пародировали грациозные позы.

Толстая служанка и два гарсона разносили напитки.

В этом плавучем кафе, покрытом только крышей, не было ни одной стены, которая отделяла бы его от внешнего мира, и эта разнузданная пляска развертывалась перед лицом мирной ночи и усыпанного звездами неба.

Внезапно Мон-Валерьян напротив осветился, словно позади него вспыхнул пожар. Свет ширился, становился отчетливей, охватывая мало-помалу все небо и образуя громадный светящийся круг бледного, белого сияния. Потом появилось и стало расти что-то красное, пламенно-красное, подобное раскаленному металлу на наковальне. Словно вылезая из земли, оно стало медленно отливаться в шар, и вскоре, отделившись от горизонта, тихо поднялась в пространство луна. По мере того как она восходила, ее пурпуровый оттенок бледнел, переходил в яркий светло-желтый цвет, а самое светило уменьшалось.

Поль давно уже глядел на него, поглощенный этим зрелищем, позабыв о любовнице. Когда он оглянулся, она исчезла.

Он стал искать ее, но не мог найти. Он оглядывал тревожным взглядом столики, бродя между ними, расспрашивая то того, то другого. Никто ее не видел.

Так он блуждал, терзаемый тревогой, пока один из гарсонов не сказал ему:

– Вы ищете госпожу Мадлену? Она только что вышла вместе с госпожой Полиной.

И в то же мгновение Поль увидел на противоположном конце кафе юнгу и двух красивых девушек; обнявшись все трое, они следили за ним и перешептывались.

Он все понял и, как безумный, бросился на остров.

Сначала он побежал по направлению к Шату; но, достигнув равнины, повернул обратно и стал осматривать густую лесную чащу, растерянно рыская повсюду и время от времени останавливаясь, чтобы прислушаться.

Жабы оглашали простор своими короткими металлическими нотами. Со стороны Буживаля, смягченное расстоянием, доносилось пение какой-то неведомой птицы. Луна изливала на широкие лужайки мягкое сияние, словно ватную дымку. Проникая сквозь листву, лунный свет струился по серебристой коре тополей, обдавал сверкающими брызгами трепещущие вершины высоких деревьев. Опыняющая поэзия летнего вечера овладевала Полем против его воли, вплеталась в его безумную тревогу, с жестокой иронией томила ему сердце; в его мягкой созерцательной душе она доводила до бешенства жажду идеальной любви и страстных излияний на груди обожаемой, верной женщины.

Задыхаясь от судорожных, разрывающих сердце слез, он был вынужден остановиться.

Когда этот приступ миновал, он пошел дальше.

И вдруг его словно ударили ножом в грудь: там, позади куста, кто-то целовался. Он бросился туда; это была парочка влюбленных, силуэты которых поспешно удалились при его появлении, обнявшись и слившись в бесконечном поцелуе.

Он не решался позвать, зная наперед, что Мадлена не ответит, и в то же время он боялся на них натолкнуться.

Ритурнели кадрили с раздирающим уши соло на корнете, фальшивый визг флейты, пронзительные неистовства скрипок терзали ему нервы, обостряли его муки. Бешеная нестройная музыка разносилась под деревьями, то ослабевая, то усиливаясь с мимолетным порывом ветра.

Внезапно ему пришла мысль: а вдруг она возвратилась? Ну да! Конечно, она вернулась! Почему бы нет? Он беспричинно, самым глупым образом потерял голову, поддавшись своим страхам, власти нелепых подозрений.

И под влиянием той странной успокоенности, которая порою прерывает припадки величайшего отчаяния, он вернулся на бал.

Быстрым взглядом он окинул залу. Ее там не было. Он обошел столики и неожиданно столкнулся лицом к лицу с тремя женщинами. Очевидно, у него была отчаянная и смешная физиономия, так как они, все трое, разразились хохотом.

Он бросился бежать, снова попал на остров и, задыхаясь, ринулся сквозь заросли кустов и деревьев. Затем он стал прислушиваться и слушал долго, так как в ушах у него звенело; но вот наконец ему показалось, что он слышит в некотором отдалении хорошо знакомый ему пронзительный смешок, и он стал потихоньку, крадучись, пробираться, осторожно раздвигая ветви; сердце билось так сильно, что он едва дышал.

Два голоса шептали слова, разобрать которые он еще не мог. Затем они умолкли.

Его охватило сильнейшее желание ничего больше не видеть, не знать, навсегда бежать прочь от этой яростной, терзавшей его страсти. Он готов был вернуться в Шату, сесть на поезд и больше не возвращаться, никогда больше не видеть Мадлену. Но вдруг ее образ овладел им: он мысленно представил себе, как она просыпается утром в их теплой постели, как она, ласкаясь, обнимая его, прижимается к нему, — и волосы ее распущены, спутались на лбу, глаза еще смежены, а губы раскрыты для первого поцелуя; внезапное воспоминание об этой утренней ласке охватило его безумным сожалением и диким желанием.

Заговорили снова; он приблизился, пригнувшись к земле. Затем под ветвями, совсем рядом с ним, пронесся легкий вскрик. Вскрик! Одно из тех восклицаний любви, которые он так хорошо знал в часы их любовных безумств. Он продолжал пробираться вперед, как бы против своей воли, неудержимо притягиваемый, сам не сознавая, что он делает... И он увидел их.

О! Если бы с нею был мужчина, другой мужчина! Но это! Это! Он чувствовал, что самая их гнусность связывает ему руки. И он стоял, уничтоженный, потрясенный, словно открыл вдруг дорогой ему и обезображенный труп, противоестественное преступление, чудовищную, омерзительную профанацию.

В его мыслях невольно промелькнуло воспоминание о маленькой рыбке и о том, что он почувствовал, когда у нее выдирали внутренности... Но тут Мадлена прошептала: «Полина!» —

тем самым страстным тоном, каким она, бывало, говорила: «Поль!» Сердце его сжалось такой острой болью, что он стремглав бросился бежать.

Он налетел на два дерева, споткнулся о какой-то корень, упал, снова пустился бежать и вдруг очутился на берегу реки, у быстрого ее протока, озаренного луною. Бурное течение образовывало ряд больших водоворотов, где играл лунный свет. Высокий берег обрывом навис над водою, отбрасывая у своего подножия широкую, темную полосу тени, где слышались всплески воды.

На другом берегу в ярком освещении громоздились дачные постройки Круасси.

Поль увидел все это, как во сне, как сквозь дымку воспоминания; он ни о чем не думал, ничего не понимал, и все решительно, даже самое его существование, представлялось ему смутным, далеким, забытым, конченным.

Перед ним была река. Понимал ли он то, что делал? Хотел ли умереть? Он был как помешанный. Но все же он повернулся лицом к острову, к Ней, и в тишине ночного воздуха, где все еще упорно раздавались заглушенные плясовые мотивы трактира, он испустил отчаянным, нечеловеческим голосом страшный вопль:

– Мадлена!

Его раздирающий призыв пронесся по беспредельному безмолвию неба, раскатился по всей местности.

Затем страшным прыжком, прыжком зверя, он бросился в реку. Вода брызнула, расступившись, снова сомкнулась, и на том месте, где он исчез, появился ряд больших кругов, расходившихся до противоположного берега, сверкая переливами света.

Обе женщины услышали этот крик. Мадлена вскочила.

– Это Поль!

В душе ее зародилось подозрение.

– Он утонул, – сказала она.

И она бросилась к реке, где ее догнала толстая Полина.

Тяжелая лодка, в которой сидели два человека, кружилась на одном и том же месте. Один из лодочников греб, другой погружал в воду длинный багор и, казалось, что-то искал. Полина окликнула его:

– Что вы делаете? Что случилось?

Незнакомый голос отвечал:

– Только что утонул какой-то человек.

Обе женщины прижались друг к другу и растерянно следили за движениями лодки. Музыка Лягушатни все еще буйствовала в отдалении, как бы аккомпанируя движениям мрачных рыболовов; река, скрывавшая теперь в своих глубинах труп человека, струилась в лунном блеске.

Поиски затягивались. Ужасное ожидание бросало Мадлену в дрожь. Наконец, по прошествии по меньшей мере получаса, один из лодочников сказал:

– Я его зацепил!

И он медленно-медленно стал вытягивать длинный багор. На поверхности воды появилось что-то большое. Другой лодочник бросил весла, и оба они общими силами, подтягивая безжизненную массу, перекинули ее через борт внутрь лодки.

Затем они направились к берегу, отыскивая освещенное и пологое место. В тот момент, когда они пристали, подошли и женщины.

Увидев Поля, Мадлена в ужасе отшатнулась. При свете месяца он казался уже позеленевшим; рот, нос, глаза, одежда – все было полно ила. Сжатые и окоченевшие пальцы были отвратительны. Все тело было покрыто чем-то вроде жидкой черноватой слизи. Лицо словно опухло, с волос, залепленных илом, стекала грязная вода.

Мужчины рассматривали труп.

– Ты его знаешь? – спросил один.

Другой, паромщик из Круасси, колебался:

– Сдается мне, я где-то видел это лицо; только в таком виде сразу не разберешь.

Затем он вдруг воскликнул:

– Да это господин Поль!

– Кто такой господин Поль? – спросил его товарищ.

Первый заговорил снова:

– Господин Поль Барон, сын сенатора, тот молодчик, который так был влюблен.

Другой добавил философским тоном:

– Ну, теперь конец его веселью; а жалко все же, особенно когда человек богат!

Мадлена рыдала, упав на землю. Полина подошла к телу и спросила:

– А он наверно умер? Окончательно?

Лодочники пожали плечами.

– Еще бы! Столько времени прошло!

Потом один из них спросил:

– Ведь он жил у Грийона?

– Да, – отвечал другой, – надо отвезти его туда, нам заплатят.

Они снова вошли в лодку и отчалили, медленно удаляясь: течение было слишком быстрое. Вскоре женщины уже не могли их видеть с того места, где стояли, но им долго еще были слышны равномерные удары весел по воде.

Полина обняла бедную, заплаканную Мадлену, лаская ее, целуя и утешая:

– Ну, что же делать? Ведь это не твоя вина, не правда ли? Разве помешаешь человеку делать глупости? Он сам этого захотел. Тем хуже для него, в конце концов!

И она подняла Мадлену с земли.

– Пойдем, дорогая, пойдем ночевать к нам, на дачу: тебе нельзя возвращаться к Грийону сегодня вечером.

Она поцеловала ее снова.

– Вот увидишь, мы тебя вылечим, – сказала она.

Мадлена встала и, все еще плача, но уже не так громко, склонила голову на плечо Полины, словно укрывшись в более интимное и надежное чувство, более близкое, внушающее больше доверия. И она удалилась медленными шагами.

Маррока

Друг мой, ты просил сообщать тебе о моих впечатлениях, о случающихся со мною происшествиях и, главное, о моих любовных историях в этой африканской стране, так давно меня привлекавшей. Ты заранее от души смеялся над моими будущими, по твоему выражению, черными утешами, и тебе уже представлялось, как я возвращаюсь домой в сопровождении громадной черной женщины, одетой в яркие ткани и с желтым фуляром на голове.

Конечно, очередь негритянок еще придет: я уже видел нескольких, и они внушали мне желание окунуться в эти чернила. Но для начала я напал на нечто лучшее и исключительно своеобразное.

Ты писал в последнем письме: «Если я знаю, как в данной стране любят, я сумею описать эту страну, хотя никогда ее и не видел». Знай же, что здесь любят неистово. Начиная с первых дней чувствуешь какой-то огненный трепет, какой-то подъем, внезапное напряжение желаний, какую-то истому, целиком охватывающую тело; и все это до крайности возбуждает наши любовные силы и все способности физических ощущений – от простого соприкосновения рук до той невыразимо властной потребности, которая заставляет нас совершать столько глупостей.

Разберемся в этом как следует. Не знаю, может ли существовать под этим небом то, что вы называете слиянием сердец, слиянием душ, сентиментальным идеализмом, наконец платонизмом, я в этом сомневаюсь. Но другая любовь, любовь чувственная, имеющая в себе нечто хорошее, и немало хорошего, в этом климате поистине страшна. Жара, это постоянно разжигающее вас пылание воздуха, эти удушливые порывы южного ветра, эти потоки огня, льющиеся из великой пустыни, которая так близка, этот тяжелый сирокко, более опустошительный, более иссушающий, чем пламя, этот вечный пожар всего материка, сожженного до самых камней огромным, всепожирающим солнцем, воспаляют кровь, приводят в бешенство плоть, превращают человека в зверя.

Но подхожу к моей истории. Ничего не рассказываю тебе о первых днях моего пребывания в Алжире. Побывав в Боне, Константине, Бискре и Сетифе, я приехал в Буджию через ущелья Шабе и по несравненной дороге через кабилские леса; дорога эта вьется над морем по извилинам гористого склона, на высоте двухсот метров, вплоть до восхитительного залива Буджии, столь же прекрасного, как Неаполитанский залив, как заливы Аяччо и Дуарнене, красивейшие из всех, мною виденных. Я исключаю из этого сравнения лишь невероятный залив Порто на западном берегу Корсики, опоясанный красным гранитом, с возвышающимися посреди него фантастическими окровавленными каменными великанами, именуемыми «Каланш де Пиана».

Не успеешь обогнуть огромный залив с его мирно спящей водой, как уже издалека, еще очень издалека, замечаешь Буджию. Город построен на крутых склонах высокой, увенчанной лесом горы. Это – белое пятно на зеленом склоне, похожее, пожалуй, на пену свергающегося в море водопада.

Едва я вступил в этот маленький очаровательный городок, как понял, что останусь в нем надолго. Со всех сторон взор ограничен громадным кругом крючковатых, зубчатых, рогатых, причудливых вершин, замкнутых так тесно, что едва видно открытое море, и залив становится похожим на озеро. Голубая вода с молочным отливом восхитительно прозрачна, а лазурное небо, такой густой лазури, словно покрытое двойным слоем краски, простирает над нею свою изумительную красоту. Они словно любят друг друга, взаимно отражая свои отсветы.

Буджия – город развалин. На пристани, подъезжая к нему, встречаешь такую великолепную руину, что ее можно принять за оперную декорацию. Это древние сарацинские ворота,

сплошь заросшие плющом. И в прилегающих горных лесах повсюду тоже развалины – части римских стен, обломки сарацинских памятников, остатки арабских построек.

Я снял в верхнем городе маленький мавританский домик. Ты знаешь эти жилища, их описывали так часто. Окон наружу у них нет, и они освещаются сверху донизу внутренним двором. Во втором этаже помещается большая прохладная зала, в которой проводят время днем, а наверху – терраса, где проводят ночи.

Я тотчас же усвоил привычки жарких стран, то есть стал делать после завтрака сиесту. Это удушливо-знойный час в Африке, час, когда нечем дышать, когда улицы, долины и бесконечные, ослепительные дороги пустынные, когда все спят или, по крайней мере, пытаются спать, оставляя на себе как можно меньше одежды.

В моей зале с колоннами арабской архитектуры я поставил большой мягкий диван, покрытый ковром из Джебель-Амура. Я ложился на него приблизительно в костюме Гасана, но не мог отдыхать, так как был измучен своим воздержанием.

О друг мой, в этой стране есть две казни, которых не желаю тебе узнать: отсутствие воды и отсутствие женщин. Какая ужаснее? Не знаю. В пустыне можно пойти на всякую подлость из-за стакана чистой холодной воды. А чего только не сделаешь в ином прибрежном городе ради красивой, здоровой девушки? В Африке нет недостатка в девушках! Напротив, они там в изобилии; но, если продолжить сравнение, они так же вредоносны и гниlostны, как илистая вода источников Сахары.

И вот однажды, более обычного истомленный, я попытался задремать, но тщетно. Ноги мои дрожали, словно их кололо изнутри; беспокойная тоска заставляла меня то и дело вертеться с боку на бок по коврам. Наконец, не в силах выносить долее, я встал и вышел.

Это было в июле, в палящий послеполуденный час. Мостовые были так раскалены, что на них можно было печь хлеб; рубашка, моментально взмокавшая, прилипала к телу; весь горизонт был затянут легким белым паром, тем горячим дыханием сирокко, которое подобно осязаемому зною.

Я спустился к морю и, огибая порт, пошел по берегу, вдоль небольшой бухты, где выстроены купальни. Крутые горы, поросшие кустарником и высокими ароматными травами с крепким запахом, кольцеобразно окружают бухту, где вдоль всего берега мокнут в воде большие темные скалы.

Кругом никого; все замерло; ни крика животных, ни шума крыльев птицы, ни малейшего звука, ни даже всплеска воды – так неподвижно было море, казалось, оцепеневшее под солнцем. И мне чудилось, что в раскаленном воздухе я улавливаю гудение огня.

Внезапно за одной из этих скал, до половины тонувших в молчаливом море, я услышал легкий шорох и, обернувшись, увидел, по грудь в воде, высокую голую девушку; она купалась и в этот знойный час, конечно, считала себя в полном одиночестве. Лицо ее было обращено к морю, и она тихо подпрыгивала, не замечая меня.

Ничего не могло быть удивительнее зрелища этой красивой женщины в прозрачной, как стекло, воде, под ослепительными лучами солнца. Она была необыкновенно хороша, эта женщина, высокая и сложенная, как статуя.

Вдруг она обернулась, вскрикнула и, то вплавь, то шагая, мгновенно скрылась за скалою.

Она должна выйти оттуда, поэтому я сел на берегу и стал ее ожидать. И вот она осторожно высунула из-за скалы голову с массою тяжелых черных волос, кое-как закрученных узлом. У нее был большой рот с вывороченными, как валики, губами, громадные бесстыдные глаза, а все ее тело, слегка потемневшее от здешнего климата, казалось выточенным из старинной слоновой кости, упругим и нежным, телом белой расы, опаленным солнцем негров.

Она крикнула мне:

– Проходите!

В ее звучном голосе, немного грубоватом, как вся ее особа, слышались гортанные ноты. Я не шевелился.

Она прибавила:

– Нехорошо оставаться здесь, сударь.

Звук «р» в ее устах перекачивался, как грохочущая телега. Тем не менее я не двигался. Голова исчезла.

Прошло десять минут, и сначала волосы, затем лоб, затем глаза показались вновь, медленно и осторожно: так делают дети, играющие в прятки, желая взглянуть на того, кто их ищет.

Но на этот раз у нее было гневное выражение, и она крикнула:

– Из-за вас я захвораю! Я не выйду, пока вы будете там сидеть!

Тогда я поднялся и ушел, неоднократно оглядываясь.

Убедившись, что я достаточно далеко, она вылезла из воды, полусогнувшись, держась ко мне боком и исчезла в углублении скалы, за повешенной юбкой.

На другой день я вернулся. Она снова была в воде, но на этот раз в полном купальном костюме. Она засмеялась, показывая мне свои сверкающие зубы.

Неделю спустя мы были друзьями. А еще через неделю наша дружба стала еще теснее.

Ее звали Маррока; наверно, это было какое-нибудь прозвище, и она произносила его, точно в нем было пятнадцать «р». Дочь испанских колонистов, она вышла замуж за некоего француза по фамилии Понтабес. Ее муж был чиновником на государственной службе. Я так никогда и не узнал хорошенько, какую именно должность он занимал. Я убедился в том, что он очень занятой человек, и далее не расспрашивал.

Переменив час своего купания, она стала ежедневно приходить после моего завтрака – совершать сиесту в моем доме. И что это была за сиеста! Если бы только так отдыхали!

Она действительно была очаровательной женщиной, немного животного типа, но все же великолепной. Ее глаза, казалось, всегда блеснули страстью; полуоткрытый рот, острые зубы, самая улыбка ее таили в себе нечто дико-чувственное, а странные груди, удлиненные и прямые, острые, как груши, упругие, словно на стальных пружинах, придавали телу нечто животное, превращали ее в какое-то низшее и великолепное существо, предназначенное для распутства, и пробуждали во мне мысль о тех непристойных божествах древности, которые открыто расточали свободные ласки на траве под листвой.

Никогда еще ни одна женщина не носила в своих чреслах такого неутолимого желания. Ее страстные ласки и объятия, сопровождавшиеся воплями, скрежетом зубов, судорогами и укусами, почти тотчас же завершались сном, глубоким, как смерть. Но она внезапно пробуждалась в моих руках и опять готова была к любви, и грудь ее взбухала в жажде поцелуев.

Ум ее к тому же был прост, как дважды два четыре, а звонкий смех заменял ей мысль.

Инстинктивно гордясь своею красотой, она питала отвращение даже к самым легким покровам и расхаживала, бегала и прыгала по моему дому с бессознательным и смелым бесстыдством. Пресытаясь наконец любовью, измученная воплями и движениями, она засыпала крепким и мирным сном возле меня на диване; от душливой жары на ее потемневшей коже проступали крошечные капельки пота, а ее руки, закинутые под голову, и все сокровенные складки ее тела выделяли тот звериный запах, который так привлекает самцов.

Иной раз она приходила вечером, когда муж ее был где-то на работе. И мы располагались на террасе, чуть прикрываясь легкими и развевающимися восточными тканями.

Когда в полнолуние громадная яркая луна тропических стран стояла на небе, освещая город и залив с его полукругом гор, мы видели вокруг себя, на всех других террасах, как бы целую армию распластавшихся безмолвных призраков, которые иногда вставали, переменили место и укладывались снова в томной теплоте отдыхающего неба.

Невзирая на ясность африканских вечеров, Маррока упорно ложилась спать голою под яркими лучами луны; она несколько не беспокоилась о всех тех людях, которые могли нас

видеть, и часто, презирая мои мольбы и опасения, выпускала среди ночного мрака протяжные трепетные крики, в ответ на которые вдали раздавался вой собак.

Однажды вечером, когда я дремал под необъятным небосводом, сплошь усыпанным звездами, она стала на колени возле меня на ковре и, приблизив к моему рту свои большие вывороченные губы, сказала:

– Ты должен прийти ночевать ко мне.

Я не понял.

– Как это – к тебе?

– Ну да. Когда муж уйдет, ты придешь спать на его место.

Я не мог удержаться и расхохотался.

– К чему это, раз ты приходишь сюда?

Она продолжала, говоря мне прямо в рот, обжигая меня своим горячим дыханием до самого горла и увлажняя мои усы:

– Чтобы у меня сохранилась память о тебе.

И «р» слова «сохранилась» еще долго с шумом потока звучало в скалах.

Я никак не мог постичь ее мысль. Она обвила руками мою шею.

– Когда тебе вскоре придется уехать, – сказала она, – я не раз буду думать об этом. И, прильнув к мужу, буду представлять, что это ты.

Все «ррре», «ррри», «ррра» казались в ее устах раскатами близкой грозы.

Тронутый, да и развеселившись, я прошептал:

– Но ты сумасшедшая. Я предпочитаю ночевать дома.

У меня действительно нет ни малейшей склонности к свиданиям под супружеской кровлей, – это мышеловка, в которую постоянно попадают дураки. Но она просила, умоляла и даже плакала, прибавляя:

– Ты посмотришь, как я буду тебя любить.

«Посмотришь» прозвучало наподобие грохота барабана, бьющего тревогу.

Ее желание показалось мне таким странным, что я не мог его ничем объяснить; затем, поразмыслив, я решил, что здесь примешалась какая-то глубокая ненависть к мужу, одно из тех тайных возмездий женщины, которая с наслаждением обманывает ненавистного человека и хочет вдобавок насмеяться над ним в его собственном доме, среди его обстановки, в его постели.

Я спросил ее:

– Твой муж дурно обращается с тобой?

Она рассердилась.

– О нет, он очень добр.

– Но ты его не любишь?

Она вскинула на меня громадные изумленные глаза.

– Нет, напротив, я его очень люблю, очень, очень, но не так, как тебя, мое сердце.

Я совсем уже ничего не понимал, и пока старался что-либо угадать, она запечатлела на моих губах один из тех поцелуев, силу которых отлично знала, прошептав затем:

– Ты придешь, не правда ли?

Однако я не соглашался. Тогда она немедленно оделась и ушла.

Восемь дней она не показывалась. На девятый появилась и, с важностью остановившись на пороге моей комнаты, спросила:

– Придешь ли ты сегодня вечером ко мне спать? Если нет, я уйду.

Восемь дней – это много, мой друг, а в Африке эти восемь дней стоят целого месяца. «Да!» – крикнул я, протянул к ней руки, и она бросилась в мои объятия.

Вечером она ждала меня на соседней улице и привела к себе.

Они жили близ пристани, в маленьком, низеньком домике. Я прошел сначала через кухню, где супруги обедали, и вошел в комнату, выбеленную известью, чистую, с фотографическими карточками родственников на стенах и с букетами бумажных цветов под стеклянными колпаками. Маррока казалась обезумевшей от радости; она прыгала, повторяя:

– Вот ты и у нас, вот ты и у себя.

Я действительно расположился как у себя. Признаюсь, я был немного смущен, даже беспокоен. Видя, что я не решаюсь в чужой квартире расстаться с некоторой принадлежностью моей одежды, без которой застигнутый врасплох мужчина становится столь же смешным, сколь и неловким, неспособным к какому бы то ни было действию, она вырвала у меня силой и унесла в соседнюю комнату вместе с ворохом остальной моей одежды и эти ножны моего мужества.

Наконец обычная уверенность вернулась ко мне, и я изо всех сил старался доказать это Марроке, так что спустя два часа мы еще и не помышляли об отдыхе, как вдруг громкие удары в дверь заставили нас вздрогнуть, и громовой мужской голос прокричал:

– Маррока, это я!

Она вскочила.

– Мой муж! Живо, прячься под кровать!

Я растерянно искал свои штаны; но она, задыхаясь, толкала меня:

– Иди же, иди!

Я распластался на полу и скользнул, не говоря ни слова, под ту кровать, на которой мне было так хорошо.

Она прошла на кухню. Я слышал, как она отперла шкаф, заперла его, затем вернулась, принесла с собой какой-то предмет, которого я не видел, но который она живо куда-то сунула, и, так как муж терял терпение, она ответила ему громко и спокойно: «Не могу найти спичек», – а затем вдруг: «Нашла, отпирраю!». И отперла дверь.

Мужчина вошел. Я видел только его ноги, огромные ноги. Если все остальное было пропорционально, он, должно быть, был великаном.

Я услышал поцелуи, шлепок по голому телу, смех; затем он сказал с марсельским выговором:

– Я забыл дома кошелек, и пришлось воротиться. Я думал, что ты уже спишь крепким сном.

Он подошел к комоду и долго искал в нем то, что ему было нужно; затем, когда Маррока легла на кровать, словно подкошенная усталостью, он подошел к ней и, без сомнения, попытался ее приласкать, так как она в раздраженной фразе выпалила в него картечью гневных «р».

Ноги его были так близко от меня, что мною овладело сумасбродное, глупое, необъяснимое искушение – тихонько дотронуться до них. Но я воздержался.

Потерпев неудачу в своих планах, он рассердился.

– Ты злющая сегодня, – сказал он.

Но примирился с этим:

– До свидания, крошка.

Снова раздался звонкий поцелуй; затем огромные ноги повернулись, блеснули передо мною крупными шляпками гвоздей, перешли в соседнюю комнату, и дверь на улицу захлопнулась.

Я был спасен. Смиранный, жалкий, я медленно вылез из своего убежища, и пока Маррока, по-прежнему голая, плясала вокруг меня джигу, раскатисто смеясь и хлопая в ладоши, я тяжело упал на стул. Но тотчас же так и подпрыгнул: подо мной оказалось что-то холодное, и так как я был одет не лучше моей сообщницы, то вздрогнул от этого прикосновения. Я обернулся. Что же? Я сел на небольшой топорик для колки дров, острый, как нож. Как он попал сюда? Я не заметил его, когда входил.

Маррока, увидев мой прыжок, задохнулась от хохота; она вскрикивала, кашляла, схватившись обеими руками за живот.

Я находил эту веселость непристойной, неуместной. Мы глупо рисковали жизнью, у меня еще до сих пор бегали мурашки по спине, и ее безумный смех немного задевал меня.

– А что, если бы я попался на глаза твоему мужу? – спросил я.

– Опасаться было нечего, – отвечала она.

– Как опасаться было нечего! Уж очень ты смела! Стоило ему только нагнуться, и он бы увидел меня.

Она перестала смеяться; она только улыбалась, глядя на меня громадными неподвижными глазами, в которых зарождались новые желания.

– Он не нагнулся бы.

Я настаивал:

– Сколько угодно! Урони он свою шляпу, ему пришлось бы ее поднять, и тогда... хорош бы я был в этом костюме!

Она положила мне на плечи свои сильные округлые руки и, понижая голос, словно говоря мне: «Я обожаю тебя», – прошептала:

– Тогда он и не встал бы.

Я не понял.

– Почему же это?

Лукаво подмигнув, она протянула руку к стулу, на который я было сел, и ее вытянутый палец, складка у рта, полуоткрытые губы и острые зубы, блестящие и хищные, – все указывало мне на маленький, сверкавший лезвием топорик для колки дров.

Она сделала движение, словно собираясь его взять, затем, привлекая меня вплотную к себе левой рукой и прижавшись бедром к моему бедру, сделала правой рукой быстрое движение, как бы обезглавливая человека, стоявшего перед нею на коленях!..

Вот, мой дорогой, как понимают здесь супружеский долг, любовь и гостеприимство!

Полено

Гостиная была маленькая, сплошь затянутая темными обоями и чуть благоухавшая. Яркий огонь пылал в широком камине, а единственная лампа, стоявшая на углу каминной доски под абажуром из старинных кружев, озаряла мягким светом лица двух собеседников.

Она – хозяйка дома, седая старушка, одна из тех очаровательных старушек без единой морщины на лице, с атласной, как тонкая бумага, и душистой кожей, пропитанной эссенциями, тонкие ароматы которых благодаря постоянным омовениям въелись сквозь эпидерму в самую плоть; целуя руку такой старушки, чувствуешь легкое благоухание, точно кто-то открыл коробку с пудрой из флорентийского ириса.

Он – старый друг, оставшийся холостяком, еженедельный гость, добрый товарищ на жизненном пути. Но и только.

На минуту они замолчали, и оба глядели на огонь, о чем-то мечтая, отдаваясь той паузе дружеского молчания, когда людям вовсе не надо говорить, когда им и так хорошо друг подле друга.

Внезапно обрушилась большущая головня, целый пень, ошестинившийся пылающими корнями. Перепрыгнув через решетку и вывалившись на пол гостиной, она покатилась по ковру, разбрасывая огненные искры.

Старушка вскочила с легким криком, словно собираясь бежать, но ее друг ударом сапога откинул обратно в камин огромное обуглившееся полено и затоптал угольки, рассыпавшиеся кругом.

Когда все было кончено и распространился сильный запах гари, мужчина снова сел против своей приятельницы и взглянул на нее, улыбаясь.

– Вот почему я так и не женился, – сказал он, указывая на водворенную в камин головню.

Она взглянула на него в удивлении – тем любопытствующим взглядом желающей все узнать немолодой женщины, в котором сквозит обдуманное, сложное и нередко коварное любопытство. И спросила:

– Как это?

Он отвечал:

– О, это целая история, довольно грустная и гадкая!

Мои старые товарищи не раз удивлялись охлаждению, наступившему вдруг между Жюльеном, одним из моих лучших друзей, и мною. Они не могли понять, каким образом два закадычных, неразлучных друга сразу сделались почти чужими. Так вот какова тайна нашего расхождения.

Он и я в былые времена жили вместе. Мы никогда не расставались, и нас связывала такая крепкая дружба, что, казалось, ничто не в силах было ее разорвать.

Однажды вечером, придя домой, он объявил мне, что женится.

Я получил удар прямо в сердце: он меня словно обокрал или предал. Когда один из друзей женится, то дружбе конец, навсегда конец. Ревнивая любовь женщины, подозрительная, беспокойная и плотская любовь, не терпит прямодушной, бодрой привязанности, той доверчивой привязанности и ума и сердца, какая существует между двумя мужчинами.

Видите ли, сударыня, какова бы ни была любовь, соединяющая мужчину и женщину, они умом и душой всегда чужды друг другу; они остаются воюющими сторонами; они принадлежат к разной породе; тут всегда нужно, чтобы был укротитель и укрощаемый, господин и раб; и так бывает то с одним, то с другим – они никогда не могут быть равны. Они стискивают друг другу трепещущие страстью руки, но никогда не пожмут их широким, сильным и честным рукопожатием, которое словно открывает и обнажает сердца в порыве искренней, смелой и мужественной привязанности. Мудрым людям, вместо того чтобы вступить в брак и произ-

водить для утешения старости детей, которые их покинут, лучше было бы подыскать доброго, надежного друга и стариться вместе с ним в той общности умственных интересов, какая возможна только между двумя мужчинами.

Словом, друг мой Жюльен женился. Его жена была хорошенькая, очаровательная маленькая кудрявая блондинка, живая и пухленькая; казалось, она обожала его.

Сначала я ходил к ним редко, боясь помешать их нежностям, чувствуя себя среди них лишним. Но они старались завлечь меня к себе, беспрестанно звали меня и, по-видимому, любили.

Мало-помалу я поддался тихой прелести этой общей жизни, нередко обедал у них и нередко, возвратившись домой ночью, мечтал последовать примеру Жюльена – тоже найти себе жену, так как мой пустой дом казался мне теперь очень печальным.

Они, по-видимому, обожали друг друга и никогда не расставались. Однажды вечером Жюльен написал мне, прося прийти к обеду. Я отправился.

– Милый мой, – сказал он, – мне необходимо отлучиться по делу сейчас же после обеда. Я не вернусь раньше одиннадцати, но ровно в одиннадцать буду дома. Я рассчитываю, что ты посидишь с Бертой.

Молодая женщина улыбнулась.

– Это я придумала послать за вами, – сказала она.

Я пожал ей руку.

– Как вы милы!

И почувствовал, что она пожимает мне пальцы дружески и длительно. Но я не придал этому значения. Сели за стол, и ровно в восемь Жюльен нас покинул.

Как только он ушел, между его женой и мной сразу же возникло чувство какого-то странного стеснения. Мы никогда еще не оставались одни, и, несмотря на возрастающую с каждым днем близость, очутиться наедине было для нас совершенной новостью. Я заговорил сначала о чем-то неопределенном, о тех ничего не значащих пустяках, которыми обычно заполняют минуты затруднительного молчания. Она не отвечала, сидя против меня у другого угла камина, с опущенной головой и блуждающим взглядом, вытянув к огню ногу и погрузившись, казалось, в раздумье. Когда банальные темы иссякли, я умолк. Удивительно, до чего иногда трудно бывает найти, о чем говорить. И затем я снова почувствовал в воздухе нечто неосоздаемое и невыразимое, некое таинственное веяние, которое предупреждает нас о тайных умыслах, добрых или злых, питаемых к нам другими лицами.

Некоторое время тянулось это томительное молчание. Затем Берта сказала:

– Подбросьте в камин полено, мой друг, видите, он гаснет.

Я открыл ящик для дров – он стоял совершенно как у вас, – достал полено, самое толстое полено, и поставил его стоймя на другие поленья, почти уже сгоревшие.

Молчание возобновилось.

Через несколько минут полено запылало так сильно, что жар стал жечь нам лица. Молодая женщина взглянула на меня, и выражение ее глаз показалось мне каким-то особенным.

– Теперь здесь чересчур жарко, – сказала она, – перейдемте туда, на диван.

И вот мы сели на диван.

Вдруг, глядя мне прямо в глаза, она спросила:

– Что бы вы сделали, если бы женщина сказала вам, что она вас любит?

Совершенно опешив, я ответил:

– Право, это случай непредвиденный, а затем все зависело бы от того, какова эта женщина.

Она засмеялась сухим, нервным, дрожащим смехом, тем фальшивым смехом, от которого, кажется, должно разбиться тонкое стекло, и прибавила:

– Мужчины никогда не бывают ни смелыми, ни хитрыми.

Помолчав, она спросила снова:

– Вы когда-нибудь бывали влюблены, господин Поль?

Я признался, что бывал влюблен.

– Расскажите, как это было, – попросила она.

Я рассказал ей какую-то историю. Она слушала внимательно, то и дело выражая неодобрение и презрение, и вдруг сказала:

– Нет, вы ничего не понимаете в любви. Чтобы любовь была настоящей, она, по-моему, должна перевернуть сердце, мучительно скрутить нервы, опустошить мозг, она должна быть – как бы выразиться? – полна опасностей, даже ужасна, почти преступна, почти святотатственна; она должна быть чем-то вроде предательства; я хочу сказать, что она должна попирать священные преграды, законы, братские узы; когда любовь покойна, лишена опасностей, законна, разве это настоящая любовь?

Я не знал, что отвечать, а про себя философски воскликнул: «О, женская душа, ты вся здесь!»

Говоря все это, она напустила на себя лицемерный вид равнодушной недотроги и, откинувшись на подушки, вытянулась и легла, положив мне на плечо голову, так что платье немного приподнялось, позволяя видеть красный шелковый чулок, вспыхивавший по временам в отблесках камина.

Немного погодя она сказала:

– Я вам внушаю страх?

Я протестовал. Она совсем оперлась о мою грудь и, не глядя на меня, произнесла:

– А если бы я вам сказала, что люблю вас, что бы вы тогда сделали?

И не успел я ответить, как ее руки охватили мою шею, притянули мою голову и губы ее прижались к моим губам.

Ах, моя дорогая, ручаюсь вам, что в ту минуту мне было далеко не весело! Как, обманывать Жюльена? Сделаться любовником этой маленькой, испорченной и хитрой распутницы, без сомнения, страшно чувственной, которой уже недостаточно мужа? Беспреданно изменять, всегда обманывать, играть в любовь единственно ради прелести запретного плода, ради бравоирования опасностью, ради поругания дружбы! Нет, это мне совершенно не подходило. Но что делать? Уподобиться Иосифу? Глупейшая и вдобавок очень трудная роль, потому что эта женщина обезумела в своем вероломстве, горела отвагой, трепетала от страсти и неистовства. О, пусть тот, кто никогда не чувствовал на своих губах глубокого поцелуя женщины, готовый отдаться, бросит в меня первый камень!..

...Словом, еще минута... вы понимаете, не так ли... еще минута, и... я бы... то есть она бы... Виноват, это случилось бы, или, вернее, должно было бы случиться, как вдруг страшный шум заставил нас вскочить на ноги.

Горящее полено, да, сударыня, полено ринулось из камина, опрокинув лопатку и каминную решетку, покатилося, как огненный ураган, подожгло ковер и упало под кресло, которое неминуемо должно было загореться.

Я бросился, как безумный, а пока водворял в камин спасительную головню, дверь внезапно отворилась. Вошел Жюльен, весь сияя.

– Я свободен! – воскликнул он. – Дело кончилось двумя часами раньше!

Да, мой друг, если бы не это полено, я был бы застигнут на месте преступления. Можете представить себе последствия!

Понятно, я принял меры, чтобы никогда больше не попадать в такое положение, никогда, никогда! Затем я заметил, что Жюльен становится ко мне холоден. Жена, очевидно, подкапывалась под нашу дружбу; мало-помалу он отдалил меня от себя, и мы перестали видеться.

Я не женился. Теперь это не должно вас удивлять.

Сумасшедший?

Сумасшедший ли я? Или только ревную? Не знаю, но я страдал жестоко. Я совершил безумный поступок, акт яростного безумия. Это так; но душившая меня ревность, но восторженная, преданная и поруганная любовь, но отвратительная боль, которую я испытываю, – разве всего этого не достаточно, чтобы побудить нас совершать преступления и безумства, хотя бы мы и не были на самом деле преступниками ни сердцем, ни умом?

О, я страдал, страдал, страдал – долго, мучительно, ужасно. Я любил эту женщину с неистовой страстью... И, однако, верно ли это? Любил ли я ее? Нет, нет, нет! Она овладела моей душой и телом, захватила меня, связала. Я был и остался ее вещью, ее игрушкой. Я принадлежу ее улыбке, ее губам, ее взгляду, линиям ее тела, овалу ее лица; я задыхаюсь под игом ее внешности, но она, обладательница этой внешности, душа этого тела, мне ненавистна, гнусна, и я всегда ее ненавидел, презирал и гнушался ею. Потому что она вероломна, похотлива, нечиста, порочна; она женщина погибели, чувственное и лживое животное, у которого нет души, у которого никогда нет мысли, подобной вольному, животворящему воздуху; она человек-зверь и хуже того: она лишь утроба, чудо нежной и округлой плоти, в котором живет Бесчестие.

Первое время нашей связи было странно и упоительно. В ее вечно раскрытых объятиях я исходил яростью ненасытного желания. Ее глаза, как бы вызывая во мне жажду, заставляли меня раскрывать рот. В полдень они были серые, в сумерки – зеленоватые и на восходе солнца – голубые. Я не безумец: клянусь, что у них были эти три цвета.

В часы любви они были синие, изнемогающие, с расширенными зрачками. Из ее судорожно трепетавших губ высовывался порою розовый, влажный кончик языка, дрожавший, как жало змеи, а ее тяжелые веки медленно поднимались, открывая жгучий и замирающий взгляд, сводивший меня с ума.

Сжимая ее в объятиях, я вглядывался в ее глаза и дрожал, томясь желанием убить этого зверя и необходимостью обладать ею непрерывно.

Когда она ходила по моей комнате, то каждый ее шаг потрясал мое сердце, а когда она начинала раздеваться, сбрасывала платье и появлялась, бесстыдная и сияющая, из волн белья, падавшего у ее ног, я ощущал во всех членах, в руках и ногах, в тяжело дышавшей груди, бесконечную и подлую поработченность.

В один прекрасный день я увидел, что она пресытилась мною. Я заметил это по ее глазам при пробуждении. Склонившись над нею, я каждое утро с нетерпением ждал ее первого взгляда. Я ожидал его, полный злобы, ненависти, презрения к этому спящему зверю, невольником которого я был. Но когда показывалась бледная лазурь ее зрачков, льющаяся, как вода, еще томная, еще усталая, еще измученная от недавних ласк, во мне мгновенно вспыхивало пламя, безудержно обостряя мой пыл. В этот же день, когда она раскрыла глаза, из-под ресниц на меня глянул угрюмый и безразличный взгляд, и в нем больше не было желания.

О, я увидел, почувствовал, узнал, тотчас же понял этот взгляд! Все было кончено, кончено навсегда. И доказательства этого попадались мне каждый час, каждое мгновение.

Когда я призывал ее объятиями и губами, она скучаясь отворачивалась, шепча: «Оставьте же меня!» или: «Вы мне противны!» или: «Неужели мне никогда не будет покоя!»

Тогда я стал ревнивым. Но ревнивым, как собака, хитрым, недоверчивым, скрытным. Я отлично знал, что она скоро опять возьмется за старое, что на смену мне явится другой и зажжет ее чувства.

Я ревновал бешено; но я не сошел с ума, нет, конечно, нет.

Я ждал; о, я шпионил за нею, она не обманула бы меня; но она по-прежнему была холодной, сонливая. Порою она говорила: «Мужчины внушают мне отвращение». И это была правда.

Тогда я стал ее ревновать к ней самой; ревновать к ее безразличию, ревновать к одиночеству ее ночей; ревновать к ее жестам, к ее мыслям, которые всегда казались мне бесчестными, ревновать ко всему, о чем я догадывался. И когда я порой замечал у нее по утрам тот влажный взор, который бывал когда-то после наших пылких ночей, словно какое-то вожделение опять всколыхнуло ее душу и возбудило ее желания, я задыхался от гнева, дрожал от негодования, от неутолимой жажды задушить ее, придавить коленом и, сдавливая ей горло, заставить покаяться во всех постыдных тайнах ее души.

Сумасшедший ли я? Нет.

Но вот однажды вечером я почувствовал, что она счастлива. Я почувствовал, что какая-то новая страсть трепетала в ней. Я был в этом уверен, непоколебимо уверен. Она вздрагивала, как после моих объятий; ее глаза горели, руки были горячие, от всего ее трепетавшего тела исходил тот любовный хмель, который доводил меня до безумия.

Я притворялся, что ничего не замечаю, но внимание мое опутало ее как сеть.

Тем не менее я ничего не открыл.

Я ждал неделю, месяц, несколько месяцев. Она расцветала непонятной страстью и замирала в блаженстве неуловимой ласки.

И вдруг я догадался! Я не сумасшедший! Клянусь, что я не сумасшедший!

Как это высказать? Как заставить себя понять? Как выразить эту отвратительную и непостижимую вещь?

Вот каким образом все стало мне известно.

Однажды вечером, как я сказал, вернувшись домой после длинной прогулки верхом, она упала на низкий стул против меня; ее щеки пылали, сердце сильно колотилось, взор был изнемогающий, и она едва держалась на ногах. Я знал ее такую! Она любила! Я не мог ошибиться!

Теряя голову и чтобы больше не смотреть на нее, я отвернулся к окошку и увидел лакея, отводившего под уздцы в конюшню ее сильного коня, вздымавшегося на дыбы.

Она также провожала взглядом горячего, рвавшегося жеребца. А когда он исчез, она сразу же заснула.

Я продумал всю ночь, и мне показалось, что я проникаю в тайны, которых никогда не подозревал. Кто сможет измерить когда-нибудь всю извращенность женской чувственности? Кто поймет женщин, их невероятные капризы, странное утешение ими самых странных фантазий?

Каждое утро с рассвета она галопом носилась по долинам и лесам, и каждый раз возвращалась истомленная, словно после неистовств любви.

Я понял! Я ревновал ее теперь к сильному, быстрому жеребцу; ревновал к ветру, ласкавшему ей лицо, когда она мчалась в безумном галопе; ревновал к листьям, целовавшим на лету ее уши; к каплям солнца, падавшим ей на лоб сквозь ветки деревьев; ревновал к седлу, на котором она сидела, плотно прижавшись к нему бедром.

Все это делало ее счастливой, возбуждало, насыщало, истомляло и затем возвращало ее мне бесчувственной и почти в обмороке.

Я решил отомстить. Я стал кроток и полон внимания к ней. Я подавал ей руку, когда она соскакивала на землю, возвращаясь после своих необузданных поездок. Бешеный конь бросался на меня; она похлопывала его по выгнутой шее, целовала трепетавшие ноздри, не отирая после этого губ; и аромат ее тела, всегда в поту, как после жаркой постели, смешивался в моем обонянии с острым звериным запахом животного.

Я ждал своего часа. Каждое утро она проезжала по одной и той же тропинке в молодой березовой роще, уходившей в лес.

Я вышел до рассвета, с веревкою в руке и парой спрятанных на груди пистолетов, словно собираясь драться на дуэли.

Я бегом направился к ее излюбленной тропинке, натянул веревку между двумя деревьями и спрятался в траве.

Припав ухом к земле, я услышал его далекий галоп, затем вдали увидел и его самого, несшегося во весь опор под листвой, как бы в конце какого-то свода. Нет, я не ошибся: это было то самое! Она казалась вне себя от радости, кровь прилила к ее щекам, во взоре было безумие; нервы ее трепетали в одиноком и неистовом наслаждении от стремительной быстроты скачки.

Животное зацепилось за мою преграду передними ногами и рухнуло на землю, ломая себе кости. Ее же я подхватил на руки. Я так силен, что могу поднять и вола. Затем, когда я спустил ее на землю, то приблизился к нему – а он глядел на нас – и в ту минуту, когда он попытался укусить меня, я вложил ему в ухо пистолет и застрелил его... как мужчину.

Но тут я тоже упал – лицо мое рассекли два удара хлыста, и когда она снова бросилась на меня, я выпустил второй заряд ей в живот. Сумасшедший ли я, скажите?

Хитрость

Старый доктор и молодая его пациентка болтали у камина. Она чувствовала лишь одно из тех легких недомоганий, какие нередки у хорошеньких женщин, – небольшое малокровие, нервы, намек на усталость, на ту усталость, которую испытывают иногда молодожены к концу первого месяца брака, если женятся по любви.

Лежа на шезлонге, она говорила:

– Нет, доктор, я никогда не пойму, как может женщина обманывать мужа. Я допускаю даже, что она может не любить его и совершенно не считаться со своими обещаниями и клятвами! Но как посмеешь отдаться другому человеку? Как скрыть это от глаз света? Как можно любить среди лжи и измены?

Доктор улыбался:

– Ну, это нетрудно. Уверю вас, об этих мелочах вовсе и не думают, когда охватывает желание пасть. Я уверен даже, что женщина созревает для настоящей любви, только пройдя через всю интимность и все отрицательные стороны брака, который, по выражению одного знаменитого человека, не что иное, как обмен дурными настроениями днем и дурными запахами ночью. Это очень верно. Женщина может полюбить страстно, лишь побывав замужем. Если бы я посмел сравнить ее с домом, я бы сказал, что в нем можно жить лишь после того, как муж осушит там штукатурку. Что же касается умения притворяться, то женщинам этого не занимать. Самые недалекие из них бывают изумительны и гениально выпутываются из труднейших положений.

Но молодая женщина, казалось, не верила...

– Нет, доктор, женщины только потом соображают, что следовало бы им сделать в опасных обстоятельствах, и, разумеется, способны терять голову гораздо более, чем мужчины.

Доктор развел руками.

– Только потом, говорите вы? Это у нас, у мужчин, вдохновение является только потом. Но вы!.. Да вот я расскажу вам маленькое происшествие, случившееся с одной из моих пациенток, которой я мог бы, как говорится, дать причастие без исповеди.

Это случилось в одном провинциальном городе.

Однажды вечером, когда я спал тем глубоким и тяжелым первым сном, от которого так трудно пробудиться, мне показалось в каком-то неотчетливом сновидении, что на всех городских колокольнях бьют в набат.

Я сразу проснулся: это звонил, и отчаянно, колокольчик у моей входной двери. Так как слуга не отзывался, я тоже дернул шнурок, висевший у кровати; вскоре захлопали дверями, шум шагов нарушил тишину спавшего дома, и появился Жан, держа в руке записку, гласившую: «Госпожа Лельевр убедительно просит господина доктора Симеона пожаловать к ней немедленно».

Несколько секунд я размышлял, но решил: «Что-нибудь вроде нервов, какой-нибудь каприз, какая-нибудь ерунда, нет, я слишком утомлен». И я ответил: «Чувствуя сильное нездоровье, доктор Симеон просит госпожу Лельевр позвать к себе его коллегу, господина Бонне».

Затем я положил записку в конверт, отдал ее и снова заснул. Полчаса спустя колокольчик с улицы затрезвонил снова, и Жан доложил:

– Там кто-то опять, не то мужчина, не то женщина – не разберу, уж очень закутан, – желает видеть вас, сударь, и немедленно. Говорит, что дело касается жизни двух людей.

Я приподнялся:

– Пусть войдут.

Я ждал, сидя в постели.

Появился какой-то черный призрак, который тотчас по выходе Жана из комнаты открыл свое лицо. То была госпожа Берта Лельевр, молоденькая женщина, три года назад вышедшая замуж за крупного местного торговца, про которого пошла молва, что он женился на самой красивой девушке во всей округе.

Она была ужасно бледна, лицо ее подергивалось, как у человека, теряющего разум, руки дрожали; два раза собиралась она заговорить, но ни один звук не вылетал из ее рта. Наконец она пролепетала:

– Скорее, доктор... скорей... Едемте... Мой... мой... любовник умер у меня в спальне...

Она замолчала, задыхаясь, затем добавила:

– А муж... должен сейчас... вернуться из клуба...

Я вскочил с постели, не подумав даже, что был в одной рубашке, и оделся в несколько секунд. Затем я спросил:

– Это вы сами только что приходили?

Окаменев от ужаса и стоя неподвижно, как статуя, она прошептала:

– Нет... это моя служанка... Она знает...

Затем, помолчав, прибавила:

– Я оставалась... подле него.

Вопль ужасной боли вырвался вдруг из ее уст, затем удушье сжало ей горло, и она заплакала, отчаянно и судорожно рыдая минуту или две; но слезы внезапно остановились, иссякли, словно осушенные внутренним огнем, и, снова став трагически спокойной, она сказала:

– Поедьте скорей!

Я был готов, но воскликнул:

– Черт возьми, я не приказал заложить карету!

Она отвечала:

– У меня его карета. Она дожидалась его.

Она снова закутала себе все лицо. Мы поехали.

Очутившись рядом со мной во мраке экипажа, она резко схватила меня за руку, сжала ее своими тонкими пальцами и пролепетала, запинаясь, словно ей мешали говорить перебоем разрывающегося сердца:

– О, если бы вы знали, если бы вы знали, как я страдаю! Я любила его, любила без памяти, как сумасшедшая, шесть месяцев.

Я спросил:

– Проснулся ли кто-нибудь у вас в доме?

Она отвечала:

– Никто, за исключением Розы; ей все известно.

Остановились у подъезда; в доме действительно все спали; мы вошли без шума, открыв дверь запасным ключом, и поднялись по лестнице на цыпочках. Служанка, растерянная, сидела на верхней ступеньке; возле нее, на полу, стояла зажженная свеча, она побоялась остаться возле покойника.

Я вошел в комнату. Все в ней было вверх дном, как после драки. Измятая, разваленная и неприбранная постель оставалась открытой и, казалось, кого-то ждала; одна простыня свесилась на ковер; мокрые салфетки, которыми молодому человеку терли виски, валялись на полу около таза и стакана. Запах уксуса, смешанный с духами Любэна, вызывал тошноту уже на пороге комнаты.

Вытянувшись во весь рост, на спине, посреди комнаты лежал труп.

Я подошел, взглянул, потрогал его, открыл ему глаза, пощупал пульс; затем, обернувшись к обеим женщинам, дрожавшим, словно они замерзали, сказал:

– Помогите мне перенести его на кровать.

И его тихо положили туда. После этого я выслушал сердце, приблизил зеркало ко рту и прошептал:

– Все кончено, давайте поскорее оденем его.

Это было ужасное зрелище!

Я брал одну за другой его руки и ноги, словно члены тела огромной куклы, и натягивал на них одежду, подаваемую мне женщинами. Мы надели на него носки, кальсоны, брюки, жилет, затем сюртук; стоило немало труда просунуть его руки в рукава.

Когда надо было застегивать башмаки, обе женщины опустили на колени, а я светил им; ноги немного опухли, и обуть их было невероятно трудно. Не найдя крючка, женщины вынули из своих волос шпильки.

Когда это страшное одевание было закончено, я взглянул на нашу работу и сказал:

– Надо его немного причесать.

Горничная принесла щетку и гребенку своей госпожи; но так как руки у нее дрожали и она произвольными движениями вырывала длинные спутанные пряди волос, то госпожа Лельевр выхватила у нее гребень и нежно пригладила прическу, словно лаская ее. Она сделала заново пробор, расчесала щеткой бороду, затем не спеша намотала на палец усы, как, без сомнения, привыкла делать ему, живому, в минуту любовной близости.

И вдруг, выронив из рук гребень и щетку, она схватила неподвижную голову своего любовника и долго с отчаянием смотрела на это мертвое лицо, которое ей больше не улыбалось; затем, упав на мертвеца, она крепко обняла его и стала неистово целовать. Поцелуи сыпались на его сомкнутый рот, на потухшие глаза, на виски, на лоб... Затем, прикинувшись к его уху, словно он еще мог ее слышать, и словно собираясь шепнуть слово, рождающее самые пылкие объятия, она раз десять повторила раздирающим голосом:

– Прощай, любимый!

Часы пробили полночь.

Я вздрогнул:

– Черт возьми! Полночь – это время, когда запирается клуб. За дело, сударыня, поживее!

Она поднялась. Я приказал:

– Отнесем его в гостиную!

Мы подняли его вдвоем и перенесли; затем я посадил его на диван и зажег канделябры.

Наружная дверь отворилась и тяжело захлопнулась. То был он, уже! Я крикнул:

– Роза, принесите мне поскорее салфетки и таз и приберите спальню; скорей, скорей, ради бога! Господин Лельевр возвращается.

Я слышал, как шаги поднимались по лестнице, приближались. Руки в темноте шарили по стенам. Тогда я крикнул:

– Сюда, мой друг, у нас тут несчастье!

Ошеломленный муж появился на пороге с сигарой во рту.

– Что такое? Что случилось? Что тут происходит? – спросил он.

Я подошел к нему.

– Друг мой, вы застаете нас в большом затруднении. Я засиделся, болтая с вашей женой и нашим другом, который привез меня в своей карете. Вдруг он сразу как-то сник и вот уже два часа, невзирая на все наши заботы, остается без сознания. Мне не хотелось звать других. Помогите же мне вынести его; я займусь им, когда он будет у себя.

Муж, удивленный, но без малейшего недоверия, снял шляпу, затем взял под мышки своего соперника, отныне уже безопасного. Я впрягся между его ног, как лошадь в оглобли, и мы спустились по лестнице, освещаемой женою.

Когда мы были в дверях, я поставил труп на ноги и заговорил с ним, подбадривая его, чтобы обмануть кучера:

– Ну же, дорогой друг, это пустяки; вы уже чувствуете себя лучше, не так ли? Мужайтесь, ну же, мужайтесь, еще маленькое усилие – и все будет кончено.

Чувствуя, что он сейчас упадет, что он выскальзывает у меня из рук, я сильно толкнул его плечом и таким образом продвинул его вперед, просунул в карету, куда затем вошел и сам.

Муж, обеспокоенный, спрашивал меня:

– Как вы думаете, это серьезно?

Я, улыбаясь, отвечал: «Нет», – и взглянул на жену.

Взяв под руку своего законного мужа, она пристально смотрела в темную глубину кареты.

Я пожал им руки и приказал кучеру ехать. Всю дорогу мертвец наваливался мне на правое плечо.

Когда мы приехали к нему, я объявил, что он по дороге потерял сознание. Я помог внести его в комнату, а затем констатировал смерть; мне пришлось разыграть целую новую комедию перед растерявшейся семьей. Наконец я добрался до своей постели, проклиная всех влюбленных на свете.

Доктор умолк, продолжая улыбаться.

Молодая женщина недовольно спросила:

– Зачем рассказали вы мне эту ужасную историю?

Он любезно поклонился:

– Чтобы при случае предложить вам свои услуги.

Парижское приключение

Найдется ли на свете чувство более острое, чем женское любопытство? О, узнать, увидеть, потрогать то, о чем мечталось! Чего только не сделает женщина ради этого! Когда ее нетерпеливое любопытство задето, она пойдет на какое угодно безумие, на какую угодно неосторожность, проявит какую угодно смелость, не отступит ни перед чем. Я говорю о настоящих женщинах, о женщинах, ум которых представляет собою ящик с тройным дном; с виду это ум рассудительный и холодный, но три его потайных отделения наполнены: первое – вечно возбужденным женским беспокойством, второе – притворством под маской прямодушия, притворством, свойственным ханжам, полным софистики и весьма опасным; и, наконец, последнее – очаровательной наглостью, прелестным плутовством, восхитительным вероломством – всеми теми извращенными свойствами, которые толкают на самоубийство глупо доверчивых влюбленных и восхищают остальных мужчин.

Женщина, приключение которой я хочу рассказать, была до того времени скучно добродетельной провинциалочкой. Ее внешне спокойная жизнь проходила в семье, делясь между занятым мужем и двумя детьми, которым она была примерною матерью. Но сердце ее трепетало неудовлетворенным любопытством, жаждою неизвестного. Она беспрестанно грезилась о Париже и с жадностью читала великосветские журналы. От описаний празднеств, туалетов, развлечений ее желания разгорались все больше и больше, но особенно таинственно волновали ее «отголоски», полные намеков, полуприкрытых искусными фразами, за которыми угадывались широкие просторы преступных и губительных наслаждений.

Издали Париж представлялся ей в каком-то апофеозе великолепной и порочной роскоши. И в долгие ночи, отдаваясь мечтам под мерное храпение мужа, который, повязав фуляром голову, спал на спине рядом с нею, она грезилась о знаменитостях, чьи имена, как яркие звезды на темном небе, появлялись на первых страницах газет; она рисовала себе их безумную жизнь, полную постоянного разврата, сладострастных античных оргий и такой сложной и утонченной чувственности, что она даже не могла себе представить.

Парижские бульвары казались ей какими-то безднами человеческих страстей, а дома вдоль этих бульваров, несомненно, скрывали необычайные любовные тайны.

Между тем она чувствовала, что стареет. Она старела, ничего не узнав о жизни, кроме тех правильных, до отвращения однообразных и пошлых занятий, которые создают, как принято говорить, семейное счастье. Она была еще красива, потому что сохранилась в этой покойной обстановке, как зимний плод в запертом шкафу: но ее точили, снedaли и будоражили тайные страсти. Она спрашивала себя: неужели ей так и придется умереть, не изведав всех этих проклятых упоений, не бросившись с головой хоть раз – один только раз! – в этот водоворот парижского сладострастия?

С большою настойчивостью подготовила она поездку в Париж, нашла предлог, добилась приглашения от парижских родственников и, так как муж не мог сопутствовать ей, уехала одна.

Тотчас по приезде она придумала такие поводы, которые позволяли бы ей в случае надобности отлучиться из дому дня на два, или, вернее, на две ночи, если б это понадобилось: она встретила, по ее словам, друзей, живших в окрестностях Парижа.

И она принялась за поиски. Она обегала бульвары, но не увидела ничего, кроме бродячего и зарегистрированного полицией порока. Она испытующе заглядывала в большие кафе, внимательно прочитывала переписку в «Фигаро», отдававшуюся в ее душе каждое утро как звон набата призывом к любви.

Но ничто не наводило ее на след грандиозных оргий в мире художников и актрис; ничто не раскрывало перед нею храмов распутства, которые рисовались ей запечатленными магиче-

ским словом, как пещера «Тысяча и одной ночи» или как римские катакомбы, где скрытно свершались когда-то таинства преследуемой религии.

Ее родственники, мелкие буржуа, не могли познакомить ее ни с кем из тех знаменитостей, чьи имена жужжали в ее мозгу, и, отчаявшись, она думала уже об отъезде, как вдруг на помощь ей подоспел случай.

Однажды, проходя по улице Шоссе д'Антен, она остановилась у витрины магазина с японскими вещицами, расписанными столь ярко, что они веселили глаз. Она рассматривала комические фигурки из слоновой кости, высокие вазы с пламенеющей эмалью, причудливую бронзу, как вдруг внутри магазина увидела хозяина, почтительнейше показывавшего какому-то толстому, маленькому, лысому человечку с небритым подбородком большого пузатого фарфорового уroda – уникальную вещицу, по его словам.

И в конце каждой фразы торговца звенело, как призыв рога, имя любителя, знаменитое имя. Остальные покупатели – молодые женщины, изящные господа – взглядывали искоса и быстро, но вполне благопристойно и с видимым почтением на прославленного писателя, увлеченно рассматривавшего фарфорового уroda. Они были безобразны оба, безобразны, как два родных брата.

Торговец говорил:

– Только вам, господин Жан Варен, я уступлю эту вещь за тысячу франков; ровно столько я сам за нее дал. Для всех прочих цена будет тысяча пятьсот; но я особенно дорожу покупателями из мира художников и писателей, и для них у меня особые цены. Они все у меня покупают, господин Варен. Вчера господин Бюснах купил большой старинный кубок. На днях я продал пару подсвечников в этом роде – не правда ли, как они хороши? – господину Александру Дюма. Знаете, если бы эту вещицу, которую вы держите в руках, увидел господин Золя, то она была бы уже продана, господин Варен!

Писатель колебался в нерешительности: вещь его соблазняла, но он думал о цене; на взгляды окружающих он не обращал никакого внимания, словно был один в пустыне.

Она вошла в магазин, трепеща, глядя на писателя с неприличной пристальностью и даже не спрашивая себя, красив ли он, молод ли, изящен ли. Это был Жан Варен, сам Жан Варен!

После долгой борьбы и скорбной нерешительности он поставил фигуру обратно на стол.

– Нет, это чересчур дорого, – сказал он.

Торговец удвоил свое красноречие:

– Вы говорите дорого, господин Жан Варен? Да за это не жалко две тысячи выложить, как одно су.

Писатель, не отрывая взгляда от уroda с эмалевыми глазами, печально возразил:

– Я не говорю, что вещь не стоит этих денег, но для меня это дорого.

Тут, охваченная вдруг безумной смелостью, она выступила вперед:

– А сколько вы возьмете с меня за этого человечка?

Торговец с удивлением ответил:

– Тысячу пятьсот франков, сударыня.

– Я беру его.

Писатель, до этого даже не заметивший ее, вдруг обернулся. Прищулив глаза, он окинул ее с головы до ног взглядом наблюдателя, а потом в качестве знатока оценил ее во всех подробностях.

Возбужденная, загоревшаяся внезапно вспыхнувшим пламенем, до тех пор дремавшим в ней, она была очаровательна. Да к тому же женщина, покупающая мимоходом вещицу за полторы тысячи франков, не первая встречаемая.

Вдруг она ощутила порыв восхитительной совестливости и, обернувшись к нему, сказала дрожащим голосом:

– Простите, сударь, я, должно быть, чересчур поспешила, вы, быть может, еще не сказали последнего слова.

Он поклонился:

– Я сказал его, сударыня.

Но она взволнованно отвечала:

– Словом, сударь, если сегодня или позже вам захочется изменить решение, то эта вещь принадлежит вам. Я только потому ее и купила, что она вам понравилась.

Он улыбнулся, явно польщенный.

– Откуда же вы меня знаете? – спросил он.

Тогда она заговорила о своем преклонении перед ним, назвала его произведения, стала даже красноречивой.

Чтобы удобнее было разговаривать, он облокотился на какой-то шкаф и, пронизывая ее острым взглядом, старался понять, что она собой представляет.

Время от времени владелец магазина, обрадованный этой живой рекламой, кричал с другого конца лавки, когда входили новые покупатели:

– А вот взгляните, господин Жан Варен, разве это не прелестно?

И тогда все головы поднимались, и она дрожала от удовольствия, что ее видят в непринужденной беседе со знаменитостью.

Наконец, совсем опьянев, она решилась на крайнюю дерзость, подобно генералу, приказывающему идти на приступ.

– Сударь, – сказала она, – сделайте мне большое, очень большое удовольствие. Разрешите мне поднести вам этого урода на память о женщине, страстно вам поклоняющейся и которая виделась с вами всего десять минут.

Он отказался. Она настаивала. Он противился, забавляясь и смеясь от всего сердца.

Тогда она сказала упрямо:

– Ну в таком случае я тотчас же отвезу его к вам. Где вы живете?

Он отказался сообщить свой адрес, но она узнала его от торговца и, заплатив за покупку, бросилась к фиакру. Писатель побежал за нею вдогонку, не желая, чтобы у присутствующих создалось впечатление, что он принимает подарок от незнакомого лица. Он настиг ее, когда она садилась в экипаж, бросился за ней и почти упал на нее – так его подбросило тронувшимся фиакром: затем уселся рядом с нею, весьма раздосадованный.

Сколько он ни упрашивал, ни настаивал, она оставалась непреклонной. Когда они были у его подъезда, она изложила ему свои условия.

– Я согласна, – сказала она, – не оставлять у вас этой вещи, если вы сегодня будете исполнять все мои желания.

Это показалось ему настолько забавным, что он согласился.

Она спросила:

– Что вы делаете обычно в этот час?

Поколебавшись, он сказал:

– Прогуливаюсь.

Тогда решительным тоном она приказала:

– В Лес!

И они поехали.

Она потребовала, чтобы он называл ей по именам всех известных, в особенности же – доступных женщин, со всеми интимными деталями их жизни, привычек, обстановки и пороков.

Вечерело.

– Что вы обычно делаете в это время? – спросила она.

Он ответил смеясь:

– Пью абсент.

И она с полной серьезностью сказала:

– В таком случае поедemте пить абсент.

Они вошли в одно из известных кафе на Больших бульварах, где он часто бывал и где встретил нескольких собратьев по перу. Он всех их представил ей. Она была без ума от радости. И в ее голове беспрестанно раздавалось: «Наконец-то, наконец!»

Время бежало: она спросила:

– В этом часу вы, вероятно, обедаете?

Он отвечал:

– Да, сударыня.

– В таком случае поедemте обедать, сударь.

Выходя из ресторана Биньон, она сказала:

– Что вы делаете по вечерам?

Он пристально взглянул на нее.

– Смотря по обстоятельствам; иногда я отправляюсь в театр.

– Отлично, сударь, поедemте в театр.

Они пошли в Водевиль, где благодаря ему им предложили бесплатные места, и – о верх славы! – весь зал видел ее рядом с ним, в креслах балкона.

Когда представление кончилось, он галантно поцеловал ей руку:

– Мне остается поблагодарить вас, сударыня, за восхитительный день...

Она прервала его:

– А что вы обычно делаете ночью?

– Но... но... я возвращаюсь домой.

Она нервно засмеялась.

– Ну что ж, сударь, поедemте к вам домой.

И больше они не разговаривали. Порою она дрожала с головы до ног, желая и бежать и остаться, но все же твердо решив в глубине души идти до конца.

На лестнице она цеплялась за перила, так сильно возросло ее волнение, а он шел вперед, отдуваясь, с восковой спичкой в руке.

Очутившись в комнате, она быстро разделась, скользнула в постель, не говоря ни слова, и ждала, прижавшись к стене.

Но она была неопытна, как только возможно для законной жены провинциального нотариуса, а он был требовательнее трехбунчужного паши. Они не поняли друг друга, совершенно не поняли.

И он уснул. Ночь проходила, и тишину ее нарушало лишь тикание стенных часов; неподвижно лежа, она думала о своих супружеских ночах и с отчаянием смотрела на этого, спавшего рядом с нею на спине, под желтым светом китайского фонарика, маленького, шарообразного человечка, чей круглый живот выпячивался из-под простыни, словно надутый газом баллон. Он храпел, как органная труба, с протяжным фырканием и смешным клочкотанием в горле. Два десятка волос, утомленные за день своим приглаженным положением на голом черепе, который они должны были прикрывать, воспользовались теперь его сном и топорщились во все стороны. Струйка слюны стекала из угла его полуоткрытого рта.

Наконец сквозь опущенные занавески чуть проглянул рассвет. Она встала, бесшумно оделась и уже приоткрыла дверь, но скрипнула задвижкой, и он проснулся, протирая глаза.

Несколько секунд он не мог прийти в себя; затем, припомнив все случившееся, спросил:

– Как, вы уходите?

Она стояла, смущенная, и прошептала:

– Да, уже утро.

Он сел на постели.

– Послушайте, – оказал он, – я тоже хочу вас кое о чем спросить.

Она молчала, и он продолжал:

– Вы крайне удивили меня вчера. Будьте откровенны, признайтесь, зачем вы все это проделали? Я ничего не понимаю.

Она тихонько подошла к нему, краснея, как молоденькая девушка.

– Я хотела узнать... порок... ну, и... ну, и это совсем не забавно!

Она выбежала из комнаты, спустилась с лестницы и бросилась на улицу.

Целая армия метельщиков подметала тротуары и мостовые, сбрасывая с них весь сор в сточные канавы. Одинаковым размеренным движением, напоминавшим движение косцов в поле, они гнали сор и грязь полукругом перед собою. Проходя улицу за улицей, она видела вновь и вновь, как они движутся тем же автоматическим движением, словно паяцы, заведенные одною пружиной.

Ей показалось, что и в ее душе сейчас вымели нечто, сбросили в сточную канаву, в канализационную трубу все ее экзальтированные мечты.

Она вернулась домой, запыхавшись, озябнув и не ощущая в сознании ничего, кроме этого движения щеток, подметающих Париж по утрам.

И как только она очутилась в комнате, она зарыдала.

Прощение

Она выросла в одной из тех семей, которые живут замкнутой жизнью и всего чуждаются.

Они не знают о политических событиях, хотя за столом и упоминают о них; но ведь перемены правительства происходят так далеко, так далеко, что о них говорят, как об исторических фактах, точно о смерти Людовика XVI или высадке Наполеона.

Нравы и моды меняются. В тихой семье, всегда следующей традиционным обычаям, этого совсем не замечают. И если в окрестностях разыгрывается какая-нибудь скандальная история, отголоски замирают у порога такого дома. Только отец и мать как-нибудь вечером обменяются несколькими словами о происшедшем, и то вполголоса, так как и у стен бывают уши. Отец таинственно скажет:

– Ты слыхала об этой ужасной истории в семье Ривуалей?

И мать ответит:

– Кто мог бы этого ожидать? Прямо ужасно!

Дети ни о чем не догадываются и, подрастая, вступают в жизнь с повязкой на глазах и мыслях, не подозревая об изнанке жизни, не зная, что мысли не всегда соответствуют словам, а слова – поступкам, не ведая, что надо жить в войне со всеми или по крайней мере хранить вооруженный мир, не догадываясь, что за доверчивость вас обманывают, за искренность предают, за доброту платят обидой.

Иные так и живут до самой смерти в ослеплении чистоты, прямотуши и честности, до такой степени не тронутые жизнью, что ничто не в состоянии открыть им глаза.

Другие, выведенные из заблуждения, растерянные, сбитые с толку, в отчаянии падают и умирают, считая себя игрушкой жестокой судьбы, несчастной жертвой гибельных обстоятельств и каких-то на редкость преступных людей.

Савиньоли выдали замуж свою дочь Бертю, когда ей было восемнадцать лет. Она вышла за молодого парижанина, Жоржа Барона, биржевого дельца. Он был красивый малый, хорошо говорил и был, по-видимому, человек порядочный. В душе он немного посмеивался над отсталостью своих нареченных родителей, называя их в товарищеском кругу: «Мои милые ископаемые».

Он принадлежал к хорошей семье; девушка была богата. Муж увез ее в Париж.

Она стала одной из многочисленных провинциалок Парижа. Она жила, не зная и не понимая этого большого города, его элегантного общества, его развлечений и модных туалетов, как не понимала жизни с ее вероломством и тайнами.

Ограничив себя хозяйственными заботами, она знала только свою улицу, а когда отваживалась побывать в другом квартале, прогулка казалась ей далеким путешествием в незнакомый и чужой город. Вечером она говорила:

– Я сегодня проходила бульварами.

Два-три раза в год муж водил ее в театр. Это были настоящие праздники; воспоминание о них никогда не исчезало, и разговор постоянно возобновлялся.

Иногда, месяца три спустя, она начинала вдруг смеяться за столом и восклицала:

– Помнишь того актера, который был одет генералом и кричал петухом?

Ее знакомства ограничивались двумя семьями дальних родственников, представлявшими для нее все человечество. Она называла их всегда во множественном числе: эти Мартине, эти Мишлены.

Муж ее жил в свое удовольствие, возвращался когда вздумается, иногда на рассвете, под предлогом всяких дел, и нисколько не стеснялся, так как был уверен, что подозрение никогда не коснется ее чистой души.

Но раз утром она получила анонимное письмо.

Она растерялась; ведь она была слишком прямодушна, чтобы понять низость подобных разоблачений и пренебречь письмом, автор которого уверял, что им руководит лишь забота о ее счастье, ненависть к злу и любовь к правде.

Ей сообщали, что вот уже два года, как у ее мужа есть любовница, молодая вдова, г-жа Росссе, у которой он проводит все вечера.

Берта не умела ни притворяться, ни скрывать, ни выслеживать, ни хитрить. Когда муж пришел завтракать, она бросила ему письмо и, рыдая, убежала в свою комнату.

У него было достаточно времени, чтобы все обдумать и приготовить ответ. Он постучался к жене. Она сейчас же отворила, не смея на него взглянуть. Улыбаясь, он уселся, привлек ее к себе на колени и ласково, с легкой насмешкой заговорил:

– Моя дорогая малютка, у меня действительно есть приятельница госпожа Росссе; я знаю ее уже десять лет и очень люблю. Скажу больше, я знаком еще с двадцатью другими семьями, о которых я никогда не говорил тебе, так как ты ведь не ищешь общества, развлечений и новых знакомств. Но, чтобы раз навсегда покончить с этими гнусными доносами, я попрошу тебя после завтрака одеться и поехать вместе со мной к этой молодой женщине. Я не сомневаюсь, что ты подружишься с нею.

Она обняла мужа и из женского любопытства, которое, раз проснувшись, уже не засыпает, не отказалась поехать посмотреть на незнакомку, внушавшую ей все же некоторое подозрение. Инстинктивно она чувствовала, что опасность, о которой знаешь, не так страшна.

Она вошла в маленькую кокетливую квартиру на пятом этаже красивого дома, полную безделушек и со вкусом убранную. После пятиминутного ожидания в гостиной, полутемной от обоев, портьер и грациозно спадающих занавесок, дверь отворилась, и в комнату вошла молодая женщина, брюнетка, небольшого роста, немного полная, с удивленной улыбкой.

Жорж представил обеих женщин друг другу.

– Моя жена – госпожа Жюли Росссе.

Молодая вдова, слегка вскрикнув от радости и неожиданности, бросилась навстречу, протянув обе руки. Она никогда не надеялась, говорила она, иметь счастье видеть госпожу Барон, зная, что та нигде не бывает; она так счастлива, так счастлива!.. Она так любит Жоржа (с дружеской близостью она назвала его просто Жоржем), что ей до безумия хотелось познакомиться с его женой и тоже полюбить ее.

Через месяц новые подруги были неразлучны. Они виделись ежедневно, иногда даже по два раза в день, постоянно обедали вместе то у одной, то у другой. Жорж теперь совсем не выходил из дому, не отговаривался больше делами и уверял, что обожает свой домашний очаг.

Наконец, когда в доме, где жила г-жа Росссе, освободилась квартира, г-жа Барон поспешила занять ее, чтобы быть еще ближе со своей неразлучной подругой.

Целых два года длилась эта безоблачная дружба, дружба души и сердца, неизменная, нежная, преданная и очаровательная. Берта не могла больше ни о чем говорить, чтобы не произнести имя Жюли, казавшейся ей совершенством.

Она была счастлива полным, спокойным и тихим счастьем.

Но вдруг г-жа Росссе заболела. Берта не отходила от нее. Она проводила возле нее ночи, была безутешна; муж тоже был в отчаянии.

И вот как-то утром врач, уходя от больной, отвел в сторону Жоржа и его жену и объявил им, что находит положение их приятельницы очень серьезным.

Когда он ушел, молодые люди, пораженные, сели друг против друга и внезапно расплакались. Целую ночь они провели вместе у постели больной; Берта каждую минуту нежно ее целовала, а Жорж, стоя в ногах кровати, молча и упорно глядел на больную.

Наутро ее положение сильно ухудшилось.

Вечером она заявила, что чувствует себя лучше, и уговорила друзей спуститься к себе домой и пообедать.

Они грустно сидели в столовой, не притрагиваясь к еде, когда служанка подала Жоржу запечатанный конверт. Он вскрыл его, прочел, побледнел, поднялся и как-то странно сказал жене:

– Подожди меня... Мне необходимо отлучиться ненадолго. Через десять минут я вернусь. Главное, не уходи из дома.

И он побежал к себе за шляпой.

Берта ждала его, терзаясь новой тревогой. Но, послушная во всем, она не хотела идти наверх к подруге, пока муж не вернется.

Так как он не являлся, ей пришлось в голову пройти в его комнату и посмотреть, захватил ли он перчатки.

Перчатки сразу же бросились ей в глаза; рядом с ними валялась скомканная бумажка.

Она сейчас же узнала ее: то была записка, поданная Жоржу.

И жгучее искушение прочесть, узнать, в чем дело, охватило ее первый раз в жизни. Возмущенная совесть боролась, но любопытство, болезненное и возбужденное, толкало ее руку. Она взяла бумажку, развернула и сейчас же узнала почерк Жюли в этих дрожащих буквах, выведенных карандашом. Она прочитала: «Приди один поцеловать меня, мой бедный друг. Я умираю».

Сначала она ничего не поняла и стояла ошеломленная, потрясенная мыслью о смерти. Потом ум ее поразило это «ты», и точно молния вдруг осветила всю ее жизнь, всю гнусную истину, их измену и предательство. Она увидела ясно их долгое коварство, их взгляды, наивность своей поруганной веры, свое обманутое доверие. Она как бы снова увидела, как вечером, сидя рядом под абажуром ее лампы, они читают одну и ту же книгу, встречаясь глазами в конце каждой страницы.

И сердце ее, переполненное негодованием, омертвевшее от горя, погрузилось в безграничное отчаяние.

Послышались шаги; она убежала к себе и заперлась.

Муж вскоре окликнул ее:

– Иди скорее: госпожа Россэ умирает!

Берта появилась на пороге и дрожащими губами произнесла:

– Возвращайтесь к ней один: во мне она не нуждается.

Он смотрел на нее безумными глазами, ничего не понимая от горя, и повторял:

– Скорее, скорее, она умирает!

Берта ответила:

– Вы предпочли бы, чтобы это случилось со мною.

Тогда, вероятно, он понял; он вышел и опять поднялся к умирающей.

Он оплакивал ее, не скрываясь больше и не стыдясь, равнодушный к страданию жены, которая перестала с ним говорить, замкнулась в своей обиде, в своем гневном возмущении и проводила время в молитве.

Тем не менее они жили вместе, обедали, сидя друг против друга, молча, с отчаянием в душе.

Наконец он мало-помалу успокоился. Но она не прощала его.

И жизнь тянулась тягостно для обоих.

Целый год прожили они чужими друг для друга, точно незнакомые. Берта чуть не сошла с ума.

Однажды, выйдя на рассвете из дому, Берта вернулась около восьми часов, держа обеими руками огромный букет белых, совершенно белых роз.

Она послала сказать мужу, что хочет говорить с ним.

Он явился встревоженный и смущенный.

– Мы сейчас выйдем вместе, – сказала она ему, – возьмите эти цветы: они слишком тяжелы для меня.

Он взял букет и последовал за женой. Их ждала карета, тронувшаяся, как только они сели.

Она остановилась у ворот кладбища. Берта, с полными слез глазами, сказала Жоржу:

– Проводите меня на ее могилу.

Весь дрожа, ничего не понимая, он пошел вперед, по-прежнему держа цветы в руках. Наконец он остановился у белой мраморной плиты и молча показал на нее.

Тогда она взяла у него букет и, опустившись на колени, положила его в ногах могилы; потом погрузилась в горячую безмолвную молитву.

Стоя позади нее, муж плакал, охваченный воспоминаниями.

Она поднялась с колен и протянула ему руки.

– Если хотите, будем друзьями, – сказала она.

Вдова

Это случилось в охотничий сезон в замке Банвиль. Осень была дождливая и скучная. Красные листья, вместо того чтобы шуршать под ногами, гнили в дорожных колеях, прибитые тяжелыми ливнями.

В лесу, почти совсем облетевшем, было сыро, как в бане. Под большими деревьями, исхлестанными осенними ветрами, пахло гнилью; от застоявшейся воды, мокрой травы и сырой земли поднимались испарения, пронизывая сыростью и охотников, горбившихся под непрерывным ливнем, и унылых собак с опущенными хвостами и прилипшей к бокам шерстью, и молодых охотниц в обтянутых, промокших насквозь суконных платьях; все они возвращались вечером домой усталые и разбитые.

В большой гостиной по вечерам играли в лото, но без особого удовольствия, а ветер шумными порывами колотился в ставни, так что старые флюгера вертелись волчком. Чтобы развлечься, затеяли рассказывать истории, как это бывает в книгах, но никто не мог придумать ничего интересного. Охотники рассказывали анекдоты о ружейных выстрелах или толковали об истреблении кроликов, а дамы, сколько ни ломали голову, не могли обрести в себе фантазии Шахразады.

Все готовы были отказаться от этого развлечения, как вдруг одна молодая женщина, машинально играя рукою старой тетюшки, оставшейся в девицах, заметила у нее на пальце колечко из светлых волос; она часто видела его и раньше, но не обращала на него внимания.

Тихонько поворачивая его вокруг пальца, она спросила:

– Скажи, тетя, что это за кольцо? Оно точно из детских волос.

Старая дева покраснела, затем побледнела и сказала дрожащим голосом:

– Это такая печальная, такая печальная история, что я не люблю о ней говорить. В этом причина несчастий всей моей жизни. Я тогда была еще очень молода, и это воспоминание так горестно, что я каждый раз плачу.

Всем сейчас же захотелось узнать, в чем дело, но тетюшка не хотела говорить; однако ее так упрашивали, что она наконец уступила.

– Вы часто слышали от меня о семействе де Сантезов, ныне уже вымершем. Я знавала трех мужчин, последних его представителей. Все трое умерли одинаковой смертью. Это волосы последнего из них. Ему было тринадцать лет, когда он лишил себя жизни из-за меня. Вам кажется это странным, не правда ли?

О, это был какой-то особенный род, если хотите – род сумасшедших, но очаровательных сумасшедших, сумасшедших от любви. Все они, из поколения в поколение, были во власти необузданных страстей, безудержных порывов, которые толкали их на самые безумные поступки, на фанатичную преданность, даже на преступления. Это было присуще им, как некоторым присуща пламенная вера. Ведь люди, уходящие в монахи, принадлежат к совсем другой породе, чем салонные завсегдатаи. Среди родных существовала поговорка: «Влюблен, как Сантез». Стоило только взглянуть на одного из них, чтобы это почувствовать. У них у всех были выющиеся волосы, низко спускавшиеся на лоб, курчавая борода, большие, широко открытые глаза с проникновенным и как-то странно волнующим взглядом.

Дед того, от кого осталось вот это единственное воспоминание, после многих приключений, дуэлей и похищений женщин безумно влюбился в возрасте шестидесяти пяти лет в дочь своего фермера. Я знала их обоих. Она была бледная блондинка, изящная, с неторопливой речью, с мягким голосом и кротким взглядом, кротким, как у самой мадонны. Старый сеньор взял ее к себе и вскоре так привязался к ней, что не мог обойтись без нее ни минуты. Его дочь и невестка, жившие в замке, находили это совершенно естественным, до такой степени

любовь была в традициях их рода. Когда дело касалось страсти, ничто их не удивляло; если при них рассказывали о препятствиях, чинимых любящим, о разлученных любовниках или о мести за измену, обе они говорили с одной и той же интонацией огорчения: «О, как ему (или ей) приходилось страдать при этом!» И ничего больше. Они всегда сочувствовали сердечным драмам и никогда не возмущались, даже если дело кончалось преступлением.

И вот однажды осенью один молодой человек, г-н де Градель, приглашенный на охоту, похитил эту девушку.

Г-н де Сантез сохранил спокойствие, словно ничего и не случилось, но как-то утром его нашли повесившимся среди собак на псарне.

Его сын умер таким же образом в одной парижской гостинице, в 1841 году во время путешествия, после того как был обманут оперной певицей.

После него остался сын двенадцати лет и вдова, сестра моей матери. Она переехала с сыном к нам в Бертильон, имение моего отца. Мне было тогда семнадцать лет.

Вы не можете себе представить, какой удивительный и не по летам развитый ребенок был этот маленький Сантез. Можно было подумать, что вся способность любить, все бушующие страсти, свойственные его роду, воплотились в нем, последнем его потомке. Он вечно мечтал, одиноко гуляя целыми часами по вязовой аллее, тянувшейся от дома до леса. Из своего окна я наблюдала, как этот мальчуган задумчиво расхаживал степенным шагом, заложив за спину руки, опустив голову, и останавливался иногда, поднимая глаза, точно видел, понимал и чувствовал как взрослый юноша.

Часто после обеда, в ясные ночи, он говорил мне: «Пойдем помечтаем, кухня...» И мы уходили вместе в парк. Он вдруг останавливался перед лужайкой, где клубился белый пар, та дымка, в которую луна обряжает лесные поляны, и, сжимая мне руку, говорил:

– Посмотри, посмотри! Но ты не понимаешь меня, я это чувствую. Если бы ты понимала, мы были бы счастливы. Чтобы понимать, надо любить.

Я смеялась и целовала его, этого мальчика, который меня обожал.

Часто после обеда он усаживался на колени к моей матери и просил: «Расскажи нам, тетя, какую-нибудь историю о любви». И моя мать в шутку начинала рассказывать ему все семейные предания, все любовные приключения его предков, а этих приключений были тысячи, тысячи правдивых и ложных. Все эти люди стали жертвою своей репутации. Она кружила им головы, и они считали для себя долгом чести оправдать славу, которая шла об их роде.

При этих рассказах, то нежных, то страшных, ребенок приходил в возбуждение и иногда хлопал в ладоши, повторяя:

– Я тоже, я тоже умею любить, и лучше, чем все они.

И вот он начал робко и бесконечно трогательно ухаживать за мной; над ним смеялись, до такой степени это было забавно. Каждое утро я получала цветы, собранные им для меня, и каждый вечер, прежде чем уйти к себе, он целовал мне руку, шепча:

– Я люблю тебя.

Я была виновата, очень виновата и без конца продолжаю оплакивать свою вину; вся моя жизнь была искуплением этого, и я так и осталась старой девой или, скорее, невестой-вдовой, его вдовой. Меня забавляла эта детская любовь, я даже поощряла ее. Я кокетничала, старалась пленить его, как взрослого мужчину, была ласкова и вероломна. Я свела с ума этого ребенка. Для меня все это было игрой, а для наших матерей веселым развлечением. Ему было двенадцать лет. Подумайте! Кто мог бы принять всерьез такую страсть? Я целовала его столько, сколько он хотел. Я писала ему даже любовные записочки, и наши матери прочитывали их. А он отвечал мне письмами, пламенными письмами, которые я сохранила. Он считал себя взрослым, думал, что наша любовь – тайна для всех. Мы забыли, что он был из рода Сантезов!

Это длилось около года. Раз вечером в парке он кинулся к моим ногам в безумном порыве и, целуя подол моего платья, твердил:

– Я люблю тебя, я люблю тебя, я умираю от любви. Если ты когда-нибудь обманешь меня, слышишь, если ты бросишь меня для другого, я сделаю то же, что мой отец...

И прибавил таким проникновенным тоном, что я вздрогнула:

– Ты ведь знаешь, что он сделал?

Я стояла пораженная, а он, встав с колен и поднявшись на носки, чтобы быть вровень с моим ухом – я была выше его, – произнес нараспев мое имя: «Женевьева!» – таким нежным, таким красивым, сладостным голосом, что я задрожала с головы до ног.

– Пойдем домой, пойдем домой, – пробормотала я.

Он ничего больше не сказал и шел за мной. Но когда мы подошли к самому крыльцу, он остановил меня:

– Знаешь, если ты бросишь меня, я себя убью.

Я поняла тогда, что зашла слишком далеко, и стала сдержанней. Как-то раз он стал упрекать меня в этом, и я ответила ему:

– Ты теперь слишком взрослый для шуток и слишком молод для настоящей любви. Я подожду.

Мне казалось, что я вышла таким образом из затруднения.

Осенью его отдали в пансион. Когда он вернулся летом, у меня уже был жених. Он тотчас все понял и целую неделю был так задумчив, что я не могла отделаться от беспокойства.

На восьмой день, проснувшись утром, я увидела просунутую под дверь записочку. Я схватила ее, развернула и прочла:

«Ты покинула меня, но ты ведь помнишь, что я тебе говорил. Ты приказываешь мне умереть. Так как я не хочу, чтобы меня нашел кто-нибудь другой, кроме тебя, то приди в парк на то самое место, где в прошлом году я сказал, что люблю тебя, и посмотри вверх».

Я чувствовала, что схожу с ума. Я поспешно оделась и побежала бегом, чуть не падая от изнеможения, к указанному им месту. Его маленькая пансионская фуражка валялась в грязи на земле. Всю ночь шел дождь. Я подняла глаза и увидела что-то качавшееся между листьями – дул ветер, сильный ветер.

Не знаю, что было со мною после этого. Должно быть, я дико вскрикнула, может быть, упала без сознания, а потом побежала к замку. Я пришла в себя на своей постели. Моя мать сидела у изголовья.

Мне казалось, что все это я видела в ужасном бреду. Я пролепетала: «А он... он... Гон-тран?» Мне не ответили. Значит, это была правда.

Я не решилась увидеть его еще раз, но попросила длинную прядь его светлых волос. Вот... вот она...

И старая дева жестом отчаяния протянула свою дрожащую руку. Затем она несколько раз высморкалась, вытерла глаза и продолжала:

– Я отказала жениху, не объяснив почему... И... осталась навсегда... вдовой этого тринадцатилетнего ребенка.

Голова ее упала на грудь, и она долго плакала, погрузившись в мечты.

И когда все расходились на ночь по своим комнатам, один толстый охотник, потревоженный в своем душевном спокойствии, шепнул на ухо соседу:

– Что за несчастье – такая неумеренная чувствительность!

Дверь

– О, – воскликнул Карл Массулины, – вопрос о снисходительных мужьях – вопрос очень трудный! Конечно, я видел их немало, и самых различных, однако не мог прийти к определенному мнению ни об одном. Я часто пытался выяснить, действительно ли они слепы, или прозорливы, или же просто слабохарактерны. Думаю, что их можно разбить на эти три категории.

Не будем останавливаться на слепых. Впрочем, они вовсе не снисходительны, они просто ничего не знают; это добрые простаки, не видящие дальше своего носа. Однако интересно и любопытно отметить, с какой легкостью мужчины, решительно все мужчины, и даже женщины, все женщины, позволяют себя обманывать. Мы поддаемся на любую хитрость окружающих – наших детей, наших друзей, слуг, поставщиков. Человек доверчив, и для того чтобы заподозрить, отгадать или разрушить козни других, мы не пользуемся и десятой долей того лукавства, к какому прибегаем, когда сами хотим кого-нибудь обмануть.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.